

The background is a painting of a winter scene. It features dark, bare tree branches in the foreground, some of which are covered with clusters of bright red berries. The ground and rooftops in the background are covered in a thick layer of white snow. Several small, dark birds are perched on the branches. The overall atmosphere is serene and wintry, with a soft, yellowish-gold light filtering through the scene. The text is overlaid on this background.

Сергей Прокопьев

**ДРАГОЦЕННАЯ
МОЯ
ДРАГОЦЕНКА**

повести

16+

Сергей Николаевич Прокопьев

Драгоценная моя Драгоценка

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=43684344

SelfPub; 2019

Аннотация

Как в капле воды отражается море, так в истории казачьего рода Кокушиных («Драгоценная моя Драгоценка») отразился жестокий XX век. Гражданская война вытеснила забайкальских казаков в Китай, в Маньчжурию. В Трёхречье они поставили 19 деревень и жили по казачьим традициям, в духе православной России. На Родину одних силой вернул СМЕРШ, другие ехали по зову сердца. Трудно русскому вне России, но и на родине непросто. Об этом повесть «Крест для родителей». Её героиня родилась в Харбине – столице КВЖД, русском городе в Китае. Но китайцам построенная русскими железная дорога нужна была без русских.

Содержание

| | |
|-----------------------------|-----|
| От автора | 4 |
| Драгоценная моя драгоценка | 8 |
| Туда, где брошена пуповина | 9 |
| Прокопий | 17 |
| Ганя | 31 |
| Материализм Прокопия | 42 |
| Троебратное | 57 |
| Афанасий и Митя | 63 |
| Пропастину из Кремля | 70 |
| Коллективизация по-китайски | 102 |
| Моё поле | 116 |
| Как воды пить в жару | 122 |
| Дядя Сеня | 136 |
| Под звуки венского вальса | 151 |
| Крест | 165 |
| Провались земля и небо | 172 |
| Смерть дяди Сени | 185 |
| Не выдал кума | 193 |
| Посажённый отец | 210 |
| Эпилог | 219 |
| Крест для родителей | 222 |

От автора

В эту книгу вошли две повести – «Драгоценная моя Драгоценка» и «Крест для родителей». Лет двадцать назад я вышел на интересную тему (или она меня нашла) – русские в Маньчжурии. В разные годы написались повести «Дочь царского крестника», «Кукушкины башмачки», «Крест для родителей», «Везучий из Хайлара», «Бабушка Пелагея из Тыныхэ», ряд рассказов. Их герои родились в Китае, детство и юность провели в Маньчжурии. И тут интересно не то, что они жили в «экзотических» местах, а то, что они на чужбине воспитывались в духе дореволюционной, православной России. И, сами того не осознавая, сохраняли в себе ту русскость, которая всеми способами «упразднялась» на родине. Так они жили до середины пятидесятых годов прошлого века. А потом произошёл исход из Китая. Кто-то уехал в Австралию, Бразилию, Аргентину, но основная масса – в Советский Союз. Один из «русских китайцев», поэт Алексей Ачаир (Грызов), сам по родословной из сибирских казаков, напишет:

Не сломила судьба нас, не выгнула,
Хоть пригнула до самой земли.
И за то, что нас Родина выгнала,
Мы по свету её разнесли.

На самом деле «разнесли». И дотянулись до наших дней живыми свидетелями той России, которая начиная с 1917 года, уничтожалась на своей земле, в своих географических пределах. Моё знакомство с «русскими китайцами» началось с Елены Николаевны Захаровой, а дальше пошло по закону цепной реакции. Я открывал для себя полные драматизма судьбы, открывал русский Харбин, русские станции по Китайской Восточной железной дороге (КВЖД): Бухэду, Хайлар, Ананси... Там служились литургии в православных храмах, учились дети в русских гимназиях, господствовала русская речь. Поначалу эти места обживали строители КВЖД и те, кто пришёл вместе с ними в Маньчжурию в конце девятнадцатого, начале двадцатого века, после революции к ним добавился мощный поток беженцев из России.

В один из счастливых дней судьба свела с Павлом Ефимовичем Кокухиным, и я открыл ещё одну страницу «русского Китая» – Трехречье. На небольшом клочке земли, в богатом, плодородном уголке Маньчжурии забайкальские казаки, убежав от советской власти, практически на пустом месте основали девятнадцать посёлков и зажили по православным и казачьим традициям. Нельзя было равнодушно слушать Павла Ефимовича, его рассказ о казачьем роде Кокухиных. Двадцатый век прошёлся по нему колесом революции и разорвал на две части: одна осталась в России, вторая ушла за Аргунь – в Трёхречье. Но обе ветви по обе стороны погра-

ничной Аргуни так или иначе познали на себе коллективизацию, ГУЛАГ, идеологическую нетерпимость. В Трёхречье забайкальским казакам удалось продлить дореволюционную Россию почти на тридцать лет. Но только и всего. Хотя за это время подросло ещё одно поколение, которое принесло с собой в Советский Союз казачьи гены и гены той, имперской, России.

В истории этого рода, как в капле воды, в которой отражается океан, отразился двадцатый век. Век, перемалывающий государства, семьи, насаждающий безбожие, закабаляющий человека под видом либеральных свобод, нивелирующий его, сгребаящий человечество в города и в то же время атомизирующий нас, тасующий, как колоду карт, рвущий родственные связи, внедряющий в человека эгоизм, гордыню...

Как-то подумалось: я становлюсь «историческим писателем». К работе зачастую вдохновляет история жизни того или иного человека. Мария Никандровна, героиня повести «Крест для родителей», на закате жизни вспоминает город детства и юности, русский город в Маньчжурии – Харбин. Он, несмотря на революцию 1917 года, японскую оккупацию, жил (как и все станции КВЖД, многие десятки сёл и деревень Маньчжурии) русским укладом до середины пятидесятых годов. Затем под воздействием китайской цивилизации Харбин начал утрачивать свою неповторимость, разъехались его основатели, их потомки – русские харбинцы. Од-

нако ещё стоят православные кресты на кладбище, ещё возжигают на могилах свечи, таинственным образом жива русская душа Харбина. Мария Никандровна, человек пожилой, одинокий, снова и снова воскрешает в памяти картины прошлого. В Харбине осталось солнце детства, в Харбине похоронила родителей. Почти полвека носила в душе занозу – как там осиротевшая могила? И лишь на закате жизни увидела фотографию памятника, под которым лежат родители, мраморный крест для него когда-то несла на плече через пол-Харбина.

Повесть родилась из долгих телефонных разговоров с Марией Николаевной Тепляковой, в конце пятидесятых годов приехавшей из Харбина в Омск. У Марии Николаевны болели ноги, в последние годы жизни она практически не выходила из дома, единственной связью с внешним миром стал телефон. В течении двух лет мы время от времени звонили друг другу, я слушал-слушал... Сначала из любопытства, а потом «замкнуло», начал целенаправленно расспрашивать, уточнять детали, осмысливать рассказы собеседницы...

Драгоценная моя драгоценка

Повесть

Они не будут уже ни алкать, ни жаждать,
и не будет палить их солнце и никакой зной:
ибо Агнец, Который среди престола,
будет пасти их и водить их на живые источники
вод; и отрет Бог всякую слезу с очей их.

Откровение Иоанна Богослова, гл. 7, ст. 16–17

Туда, где брошена пуповина

Мы стояли на вершине сопки. Внизу до горизонта зелёным морем простиралась тайга. Отец показал рукой на восток:

– Вон там шла дорога, по ней мы с мамой, братьями Фёдей, Кешей, сестрой Соломининой шестьдесят лет назад уезжали в Китай, в Трёхречье.

Я впился глазами в указанную сторону, будто мог разглядеть среди тайги дорогу, бабушку, дядюшек, тётушку, восемнадцатилетнего отца, бежавших за Аргунь, в Маньчжурию, в безлюдные земли и леса Северо-востока Китая.

В 1920 году бабушка Агафья Максимова, оставив трёх старших сыновей – Ивана, Василия и Семёна – в Забайкалье, в казачьем поселке Кузнецово (Иван и Василий жили своими семьями), с младшими детьми поехала за Аргунь. Думала обжиться в Трёхречье, переждать бурю, присмотреться, а как смута уляжется, будет видно, где всем соединиться – в Китае или в родном Кузнецово.

Первый поток беженцев устремился из Забайкалья в Трёхречье в разгар Гражданской войны – в восемнадцатом-девятнадцатом-двадцатом годах. Уходили за Аргунь казачьи-крестьяне, и те, кто воевал у белых и бежал от красных, и те, кто сражался за идеи красных и бежал от преследования белых. Одних гнали победители, другие не хотели вое-

вать ни за тех, ни за других и скрывались от мобилизации. Граница была условной, а Северо-восток Китая пустынным материком манил к себе, вселял надежду на мирную, привычную жизнь. Казаки начали ставить деревни по берегам Хаула, Дербула, Гана и их притокам, что берут начало на отрогах Большого Хингана.

Бабушка с детьми выбрала Драгоценку, ставшую вскоре центром русского Трёхречья. Почему станица и речка, на которой она стояла, получили столь необычное название, мне так и не удалось выяснить. Кто тот казак, у которого вырвалось почти сказочное, с просверком алмазных граней – Драгоценка? В окрестных сопках имелись залежи плавикового шпата (или флюорита), а по берегам Драгоценки было полно прозрачных, разноцветных, на все цвета радуги – зелёные, белые, голубые, розовые, красные, жёлтые, оранжевые – плоских камешков. Камнерезы Европы и Азии издавна использовали флюорит для имитации драгоценных камней – аметиста, изумруда, рубина, сапфира, топаза. В Драгоценке таких мастеров-ювелиров не имелось, тем не менее не только под ногами валялась красота, на кладбище было принято украшать могильные холмики, обкладывая разноцветными камешками.

У нас в красной избе стоял на тумбочке кристалл – молочно-белый, островерхий, как башни Московского Кремля. Нет, больше походил на высотное здание Московского университета. Я как в первый раз фото университета в журнале

увидел, вспомнил наш кристалл. Жаль, почему-то не взяли его в Советский Союз.

И ещё... У Константина Седых в романе о забайкальских казаках «Даурия» есть речка Драгоценка. Она явно «берёт начало» от трёхреченской. Забайкальский писатель, конечно, знал о ней и не смог пройти мимо звучного названия...

А вообще Трёхречье издавна привлекало к себе казаков. С тех самых пор, как с конца семнадцатого – начала восемнадцатого века принялись ставить караулы по левому берегу Аргуни, обозначая на этих землях присутствие России. По крестьянским надобностям перебирался служивый люд на правый берег – сено косили, скот пасли, охотились. С той поры появились в Трёхречье первые заимки и зимовья казаков-забайкальцев. Заповедная территория лежала безлюдной. Редко когда встречались кочевники – немногочисленные тунгусы, баргуты, орочены, монголы. Они были каплей в море – богатый лесами, травами, зверьём, чернозёмом край лежал пустынным, безлюдным материком...

И ждал, кто же снова придёт в его пределы...

В начале пятидесятих у нас был покос в устье Гана. Добрая половина Драгоценки в том месте заготавливала сено. Заливные обширные луга, отменный травостой. Рядом с покосами на возвышенности располагалось древнее городище. Квадрат, обнесённый высоким земляным валом. А перед ним, с внешней стороны, – остатки рва. В одном месте вал имел проход, наверное, для въезда... Косари использовали

древнее сооружение под хозяйские надобности. В городище было много ям. Для чего их вырыли – не знаю, глубиной метра четыре-пять, по сторонам метра полтора на полтора. Стены ровные, плотные, как кирпич. В ямах косари хранили мясо. Отец с кем-нибудь из старших братьев на вожжах опускал меня и подавал свежую баранину (тунгус где-нибудь рядом нашу отару пасёт, отец съездит, привезёт) или вяленую свинину. Или я, стоя на дне ямы, привязывал мясо к вожжам и дёргал: поднимай...

Брат Афанасий, учитель географии, рассказывал, что городище одно из девяти, относящихся к валу Чингисхана. Его остатки по сей день встречаются в Монголии, России, Маньчжурии... Когда-то соорудили земляной вал с запада на восток на сотни километров и по всей его протяжённости возвели ряд городищ, пограничных поселений, квадратной и круглой формы. Насыпали вал в тринадцатом веке или ещё раньше.

Афанасий рассказывал, а мне казалось странным: здесь, в пустынном Трёхречье, кипела перенасыщенная людьми жизнь. Разные народы – кидани, монголы, маньчжуры, чжурджени, тунгусы – бились за эти пространства... Сходились встречными ураганами конницы, лилась кровь воинов. Кто-то проделал гигантскую работу – нагнал тысячи землекопов, и те вручную соорудили через полматерика вал со рвом... То ли фортификационным сооружением, а может, так отметили границу империи. Монголы ли отгородились от север-

ных народов или ещё раньше кидани... Тунгусы и монголы называли вал, как и Китайскую стену, керим. По сей день нет ответа: приложил великий завоеватель Чингисхан руку к строительству вала, оставшегося в истории под его именем, или никакого отношения к нему не имеет.

На покосе, отужинав со всеми, я любил забираться на вал городища (он был метра три высотой) и силился представить жизнь в далёкие века. Тысячи воинов-всадников сходились на битвы. И здесь, где уже много веков висит тишина, только кузнечики поют, да метели носятся зимой, стоял топот сшибающихся лошадей, звон сабель, кричали люди, ржали кони... Где всё это? Афанасий рассказывал: ушли в небытие целые народы, владевшие в Средние века этими территориями – кидани, чжурджени... Растворилась мощь маньчжуров, монголов, татар...

И ещё, стоя на валу городища, я смотрел за Аргунь, в Россию. За деревьями на другом берегу угадывался посёлок Старо-Цурухатуй. Башня торчала в лучах заходящего солнца. Мне казалось, будто даже крыши вижу... Там была Россия... Волнующая, загадочная, таинственная. Мы учились по её учебникам, пели её песни. Туда сбежал и где-то там (жив ли нет?) мой родной старший брат Ганя...

Совсем-совсем рядом была Россия... И страшно далеко...

В конце девятнадцатого века Фёдор Иванович Кокушин, мой дед по отцу, переправился через Аргунь, углубился на китайскую территорию и неподалёку от места, где позже

быть станице под названием Драгоценка, в пади поставил заимку. И потом несколько раз в засушливые в Забайкалье годы зимовал в «своей» пади со скотом. Падь так и стала зваться Кокушинской. А речушка, что брала начало из неё, – Кокушихой. Она бежала по Драгоценке недалеко от нашего дома.

Природа в Трёхречье походила на Забайкальскую: в южной части по Аргуни – полоса степи; выше по Дербулу, Хаулу и Гану – сопки, леса. Морозная зима, жаркое, в меру дождливое (но практически не засушливое) лето. Плодородная земля, чернозёмы, которых никогда не касался плуг, сенокосные луга с сочным травостоем. Хлебопашествуй крестьянин, разводи скот... Земли – вдоволь, строевого леса – сколько хочешь, власть номинальная и либеральная – до ближайшей станции Хайлар Китайской Восточной железной дороги более ста вёрст по бездорожью...

И застучали в двадцатых годах двадцатого века топоры в Трёхречье, бежавшие из России казаки стали возводить дома, церкви, школы, обозначая места своего обитания названиями: Драгоценка, Верх-Кули, Лапчагор, Покровка, Ширфовая, Щучье, Караганы, Верх-Урга, Усть-Кули, Лабдарин... В девятнадцати посёлках сыны Забайкальского казачьего войска начали жить по традициям отцов и дедов, ревностно храня веру отцов, обычаи предков. Действовало восемнадцать православных храмов (были и староверческие церкви), один монастырь... Работать казаки умели и вскоре

зажили лучше, чем в России. Бедным считался казак, у которого меньше двадцати-тридцати голов крупного рогатого скота. Игралась свадьба, рождались дети, казачата превращались в казаков. В 1932 году Япония оккупировала Маньчжурию, японские солдаты на долгих тринадцать лет пришли в Трёхречье, благом это не было, но и при оккупантах жизнь продолжалась по русским православным и казачьим традициям.

В августе 1945 года Красная армия за несколько дней полностью освободила Маньчжурию... С этого самого времени Россия стала с особой силой примагничивать трёхреченскую молодёжь. Старшее поколение не могло не вспоминать дореволюционную жизнь в России. Не зря сказано: «Тянет туда, где брошена пуповина». Отцы и матери памятью обращались за Аргунь, в казачьи станицы, к родительским домам, к дорогим местам, к чему прикипела когда-то душа, и, только тронь её, встают перед глазами дорогие сердцу сопки, хрустальные речки, покосные луга... Это передавалось молодёжи, которая не видела Забайкалье, не знала те края, но глыба России мощной, непреодолимой силой влекла к себе. Дедам, отцам и матерям хватало воспоминаний, они не отказались от своей Родины, но смотрели на возможность возвращения в её пределы с большой долей сомнения. Однако своими воспоминаниями воспаляли головы тех, кто родился в Маньчжурии, в Трёхречье в двадцатые годы... Вожделенная Россия в каких-то пятидесяти-шестидесяти километрах...

Все мои старшие родные братья – Ганя, Афанасий, Митя – независимо друг от друга пускались в бега за Аргунь...

Прокопий

Первым в Советском Союзе из нашей родни по своей воле оказался двоюродный брат Прокопий, дяди Кеши, Иннокентия Фёдоровича Кокушина, сын. Прокопий был гордостью Кокушиных. В нашем роду мужчины, что братья отца, что мои родные и двоюродные, ростом не выше метра семидесяти. Один дядя Сеня, говорят, был высокий, и Прокопий метр восемьдесят, не ниже, лицом приметный. От матери, чистокровной полячки, много взял.

Истрия появления панночки в Кузнецово такова. Бравый казак-забайкалец привёз с германского фронта не шаль с кистями, не отрез панбархата, не сапоги из кожи европейской выделки или богатую бекешу – девицу привёз военным трофеем. В Европе подхватил красавицу – льняные волосы, зелёные глаза, кожа белая – и повёз за тысячи вёрст, защищая по дороге от посягательств казачков, вкусивших сладкой вольности под лозунгом «Война всё спишет». О чём думала панночка под перестук колёс на стыках Транссибирской магистрали, минуя бескрайние степи, дикую тайгу, умопомрачительной ширины реки, всё дальше и дальше уезжая от Царства Польского – одному Богу известно.

Доставил казак заграничную зазнобу в родной дом, а родители против привозной невестки, не захотели чужестранку, что так запросто с казаками поехала с одного края земли

на другой. Заявили сыну решительный протест: какой бы ты ни был герой, крещёный войной, а не будет тебе родительского благословения. Казак и сам, похоже, охладел к полячке. Не пошёл напролом. Согласился с родителями: одно дело походная краля, другое – хозяйка в казачьем доме. Тогда как Иннокентию Фёдоровичу приглянулась иноземка. Отца, Фёдора Ивановича, уже не было в живых, мать уговорил с условием: католичка принимает православие. В 1918 году они венчались в кузнецовской церкви.

Заморская красота не помешала полячке оказаться, родила дяде Кеше троих сыновей и столько же дочерей. Прокопий был третьим сыном. У меня хранится фотография – дядя Кеша с сыновьями: Николаем, Михаилом, Прокопием. Прокопию лет шестнадцать. Волнистые тёмные волосы, широкие плавной дугой брови, открытый умный взгляд. Внешне, как рассказывали, в юности не выглядел силачом-богатырём. Сухой, поджарый, однако запросто крестился двухпудовкой. Той же двухпудовкой проделывал цирковой трюк – брал гирию одной рукой, приставлял (не прижимая) «дном» к стене и держал, улыбаясь, на вытянутой руке сколько угодно.

Как-то на вечерке один храбрец, перебрав водки или противного китайского спирта, стал наскакивать на Прокопия. Претензия банальная – девчонка. Дескать, отвали, моя черешня, не забрасывай камешки не в свой огород, не лезь, паря, не в свои сани. Вышли соперники разбираться на крыль-

цо, задиру свежий воздух не отрезвил, не поубавил дури, пуще раздухарился, мол, я тебя, паря, сейчас больно учить буду, замахал кулаками, на что Прокопий поднёс ему один раз по сопатке, и тот мигом все претензии позабыл, рыбкой с крыльца мелькнул, как и не стоял, и затих безучастно на земле... Перепугал всю вечёрку, думали, кончается... Водой бросились отливать...

Прокопий отлично пел. По мужской линии наших с ним отцов никто хорошим голосом не отличался. Ему Бог дал. Когда в 1957-м впервые из Норильска (там сидел в лагере, там и остался жить, освободившись) приехал к нам в гости, они с мамой моей как хорошо пели. Мама была певуньей! Прокопий с моим отцом за столом горячо заспорили на тему веры в Бога. Прокопий был крепко подпорчен атеизмом. Отца моего нельзя назвать человеком, который без Бога ни до порога, однако не помню, чтобы начал трапезничать, не перекрестившись, и не поблагодарил Бога, поднимаясь из-за стола. Не один раз слышал от него: «Казак без веры – не казак!» Отца всегда выводило из себя, когда казаки начинали проповедовать атеизм. Заводился с полуслова. И здесь напустился на Прокопия. Последний вовремя дал задний ход, решительно оборвал себя:

– Дядя Ефим, хорош-хорош, давай лучше споём! Я к вам ехал и мечтал о наших казацких песнях...

– Да какой я певец! – отец недовольно буркнул, он всё ещё кипел спором, рвался в бой.

– Давай, давай! – обрадовалась мама. Не по душе ей было, что родственники после стольких лет разлуки завели горячие мировоззренческие разборки. Пыталась сразу, как они зацепились, увести от скандального разговора, да отца разве остановишь, если разойдётся, могло и до кулаков дело дойти...

– Проня, какую споём? – спросила мама Прокопия.

– А давайте, тётушка, нашу казацкую!

И запели на два голоса:

Конь боевой с походным выюком

У церкви ржёт, кого-то ждёт.

В ограде бабка плачет с внуком,

Молодка горьки слёзы льёт.

А от дверей святого храма

Казак в доспехах боевых

Идёт к коню от церкви прямо

Среди друзей своих, родных.

Эту песню в Драгоценке часто пели. У Прокопия глубокий баритон. Лагеря, работа на жутком морозе не сгубили голоса. Свободно, мощно вёл мелодию. Отец слушал, наклонив голову, покачиваясь в такт песни. За столом сидел и мой старший брат Ганя, губы его шевелились – пел про себя. У мамы голос сильный, чистый, среднего диапазона. Прокопий

пел, глядя куда-то в угол. Что уж он видел? Драгоценку, мать, девушку, что не стала его женой... Мама сидела прямо на стуле, лицо красивое, песенное. Не один раз она видела в забайкальском детстве и девичестве картину проводов казаков на службу, на войну...

Жена коня мужу подводит,
Племянник пику подаёт.
Отец ему сказал: «Послушай
моих речей ты наперёд:

Мы послужили государю,
Теперь черёд тебе служить.
Так обними-ка жёнку Варю,
Господь тебя благословит.

Дарю тебе коня лихого,
Он добровит был у меня.
Он твоего отца седого
Носил в огонь и из огня.

Тебе вот сабля боевая,
Подружка славы и побед,
Тебе вот пика роковая,
С ней бился я, с ней бился дед.

Служи, сынок, отдай Отчизне
Весь пыл души своей молодой.
Чтоб наша Родина Россия
Была державною страной!»

Прокопий – крутой в плечах, годы ещё не проредили, не обесцветили его густые чёрные волосы – поднялся из-за стола, подошёл к маме, наклонился, обнял одной рукой за плечо, поцеловал в щёку:

– Спасибо, тётушка. Как хорошо с вами, родные мои.

...Тридцатого марта, в день святого Алексия человека Божия, покровителя Забайкальского казачьего войска, в Драгоценке всегда устраивался праздник. Весна в той поре, когда солнце большое, новое, небо наливается синевой, а к середине дня ощутимо припекает, поработаешь полдня на солнце и обязательно потемнееешь лицом, загар липучий, въедливый. Ночью мороз может по-зимнему придавить, но всё равно это уже не зима, день длинный, а ночи съёживаются... И весной пахнет на солнце...

Тридцатого марта с раннего утра в Драгоценку съезжались казаки со всего Трёхречья. Из Лабдарина, Барджакона, Нармакчи, Тулунтуя, Ключевой, Дубовой, Верх-Кулей...

Кто-то приезжал накануне, останавливался у родственников или знакомых... Но большинство наезжали ранним утром. Чуть рассвело – и начинается движение по посёлку. На санях, верхами наполняют Драгоценку казаки. Хруст лед-

ка под копытами и полозьями, ржанье лошадей, радостные возгласы, объятия родственников, кумовей, боевых товарищей...

Праздник начинался с литургии в храме, потом молебен... Площадь перед церковью заполнял нарядный люд, женщины в ярких платках, мужчины в казачьем, жёлтые лампасы, на головах папахи с жёлтым верхом... Выходит бабюшка, площадь замирает. Народу не одна тысяча. Обязательно казачата в большом количестве, тоже в папахах. Священник начинает молебен, небольшой, слаженный хор помогает... Потом парад. Из Харбина обязательно какой-нибудь высокий чин приезжал, принимал парад. Казачата в пешем строю печатали шаг под барабанный бой. Затем шли сотни на конях-красавцах, с развернутыми знаменами. Бравые молодые казаки-трёхреченцы, их отцы, убелённые сединами. Многие понюхали пороху на Первой мировой, на Гражданской. Одни у белых, другие у красных, нередко и там и там рубились.

Как такового официального казачьего войска в Трёхречье не было, тем не менее военно-патриотическая работа велась – молодые парни призывного возраста по приказу станичного атамана собирались на сборы. Отставной есаул или как минимум хорунжий обучал молодёжь кавалеристскому искусству, проводил отработку приёмов джигитовки. Это искусство молодые казаки в полном объёме демонстрировали обычно летом, на Петра и Павла, когда казаки тоже соби-

рались в Драгоценке со всего Трёхречья. Когда-то это был престольный праздник Драгоценки. Дело в том, что первый храм в станице построили в честь апостолов Петра и Павла. Однако он со временем стал маленьким для Драгоценки, его разобрали и перевезли в трёхреченский посёлок Барджакон, а в центре Драгоценки поставили новый в честь Сретенья Господня. Однако по-прежнему на Петра и Павла Драгоценка собирала казаков со всей округи. Проводился казацкий смотр, обязательно молодые казаки показывали станичникам своё мастерство.

В детскую память врезалось: Прокопий несётся верхом на лошади и вдруг на полном скаку проводит сложный приём джигитовки – оборот на триста шестьдесят градусов. Конь летит во всю мочь, наездник падает вбок, уходит под круп, на долю мгновенья голова оказывается рядом с землёй, затем ловко выныривает с другой стороны и снова в седле.

Я сыновей-школьников часто водил в омский цирк. А уж если выступала конная группа, сам, не хуже пацана, в нетерпении ждал: сейчас вынесутся на арену красавцы-кони, запахнет конюшной, артисты-конники явят собой торжество воли, ума, лихости... Тигры, львы – это дрессировка, постоянное хождение на грани (зверь есть зверь, сколько волка не корми – может напасть), совсем другое взаимопонимание лошади и человека... Тут сердечная привязанность... Однажды спросил Прокопия (это уже после всех его лагерей) вспоминали Драгоценку, жизнь в Трёхречье, я возьми

и спроси:

– Не один раз слышал о твоих успехах в джигитовке, что-то даже сам, пусть смутно, да помню, а вот в цирке смог бы выступать?

– В цирке, брат, проще, арена, опилки, скачки по кругу. Там центробежная сила помогает. Когда ты летишь по земле, посложнее будет.

И наездником на бегах Прокопий, это мне отец и старшие братья рассказывали, был отменным. В Алексеев день, всегда устраивались бега, они могли быть и в другие праздники, на Алексея обязательно. Мужики загодя попарно сговаривались посоревноваться бегунцами (беговыми лошадьми) – у кого лучше. Заключали пари, на кон ставили, скажем, тридцать баранов, или два-три быка, или пару лошадей. До японцев деньги не ценились, при японцах зачастую на деньги спор шёл. Заключали пари во всех посёлках Трёхречья, бега проводились только в Драгоценке на вымеренной, много раз испытанной соревнованиями трассе. Пролегала она на краю посёлка. Сопка, у её подножия речка Барджакон (приток Дербула), а параллельно ей трасса. Отец в табуне одного, а то и двух бегунцов обязательно держал. Рабочие лошади – это само собой, бегунцы – для души. Трасса пролегала по прямой, и соревновались только верхами, в роли наездников – подростки. Редко когда парень, только если он лёгкого веса. Мой родной дядя по маминой линии Иван Петрович Патрин роста небольшого, щуплый, тот и в восемнадцать лет

наездником участвовал в бегах.

Трёхречье славилось лошадьми. Японцы, оккупировав Маньчжурию в 1932-м, завезли из внутреннего Китая, а может, из Японии отличную породу. Они планировали властвовать в этой части Китая вечно, посему воспроизводили лошадей для своей конницы в местных условиях. И поощряли казаков разводить их для пополнения своих конюшен. Покупали трёхлеток – в этом возрасте отлично видно, на что годен тот или иной конь. Одной из статей дохода для трёхреченцев стала поставка лошадей для кавалерии Квантунской армии. А японской породой казаки оздоровили генофонд своих лошадей, что пригнали из Забайкалья.

Бегунцов казаки держали исключительно для развлечения. Такие лошади не знали хомута, не работали в поле. Хорошо помню трёх отцовских, один с рыжей гривой, сам рыжий, так и звали Рыжка... Высокий, стройный, а ноги, казалось, неправдоподобно лёгкие... Другого бегунца почему-то звали Урёшка. Откуда взялось такое имя? Вороной, на лбу белым ромбом отметина. Он будто понимал свою исключительность – голову носил гордо, выделялся в табуне... Был ещё Карька... Последние бега устраивались в Драгоценке в пятьдесят втором году. А потом китайцы стали нас притеснять, повели политику – русских надо выдавливать.

В истории Трёхречья несколько раз устраивались бега от Драгоценки до Хайлара, это более ста вёрст. С большим призом. Для такого забега надо было иметь не просто бегунца,

а выдающуюся лошадь. У дяди Кеши, отца Прокопия, был жеребец Сендай. Карей масти. Красавец. Дядя Кеша, человек азартный, заводной, с казаком Пановым, его дом стоял по соседству с нашим, сговорились устроить забег Драгоценка – Хайлар. На Сендая дядя Кеша посадил Прокопия, Панов – своего сына Ивана. Сто вёрст да ещё с гаком – дистанция длинная, её разбивали на этапы и после каждого давали бегунцам передышку. Прокопий шёл впереди на последнем отрезке и должен был выиграть. По злой иронии на маршруте имелась петля, утверждённая условиями забега, Прокопий честно поскакал, соперник срезал и на финише оказался первым. Как ни оспаривал дядя Кеша, победителем признали лошадь Панова.

При скачках на версту, если возникали спорные ситуации – лошади приходили ухо в ухо, или ещё какая-то неувязка – устраивались повторные забеги для однозначного выявления победителей, на сверхдлинную дистанцию перезабег не сделаешь. Приз получил Панов. Но всадников обоих отметили. Прокопию достался серебряный портсигар. Почему-то он оказался в нашей семье при отъезде в Советский Союз, у моего родного брата Афанасия. Жив брат, дай Бог ему здоровья, в Казахстане, в Мичурино живёт. Как только в пятьдесят пятом мы нашли Ганю, и тот сообщил в письме: «Я в лагере вместе с Прокопием, сыном дяди Кеши», – отец, отвечая, написал, что портсигар Прокопия у нас.

Кстати сказать, Сендая дядя Кеша продал за очень хоро-

шие деньги в конюшни Харбина, в русской столице Маньчжурии бега вызывали у публики большой интерес и были поставлены на коммерческую основу.

Оккупировав Муньчжурию, японцы создали марионеточное государство Маньчжоу-Го, или Маньчжудиго, ввели свои войска, свои порядки, в Драгоценке стоял их гарнизон, была также жандармерия. Молодых казаков-трёхреченцев японцы стали призывать в специальный отряд Асано. Под Харбином на станции Сунгари Вторая создали школу подготовки, руководили ею кадровые казаки белого атамана Семёнова и белого генерала Унгерна... Японцы разработали программу по использованию местных русских в возможной войне с Советским Союзом. Император Ниппон в своих сладких мечтах завоевателя планировал собрать территории (и народы) вплоть до Урала по принципу «Хакко ичи-у» – все под одной крышей. Крышуют, естественно, японцы. Русских японцы считали пятой народностью империи Маньчжудиго. И, конечно, она должна сражаться за японскую «крышу» на стороне великой, непобедимой нации ямато.

Мобилизовали в отряд Асано не только трёхреченцев, со всей КВЖД собирали молодых русских парней. Упор делался на кавалерийскую выучку. Прокопий попал в школу разведчиков-диверсантов. Относилась она к Асано или нет, не знаю. Может, Прокопий и говорил при жизни, да я запомнил. В школе разведчиков обучали парней для последующей переброски через границу с целью шпионской и диверсион-

ной работы на территории Советского Союза. Летом 1945-го япошки почувствовали запах жареного – вот-вот война начнётся. В конце июня Прокопий и ещё двое русских ребят в сопровождении японца тёмной ночью переплыли на плоту Аргунь, она в том месте шириной, как Иртыш в районе Омска. Потаёнными тропами углубились на территорию СССР. Цель заброски – собрать сведения: готовится или нет Красная армия к войсковой операции на этом участке границы, есть ли концентрация техники и людской силы, по возможности захватить языка.

Парни заранее договорились сдаться. Сначала хотели японца прикончить, но потом побоялись: если японцы прознают, чикаться с родными перебежчиков не станут, расправятся со свойственной им жестокостью и кровожадностью. По плану операции разведчики должны были несколько дней скрытно собирать информацию в приграничном районе. Почему парней сразу одних не забросили? Скорее всего, не совсем доверяли, задача сопровождающего – контроль перехода группой границы. Японец до следующей ночи оставался с ними, с наступлением темноты вернулся к Аргуни, Прокопий сопровождал его до реки. Утром парни вышли к пограничникам, представились, кто они, с какой целью заброшены. Их сразу в особый отдел... Кто такие? Добровольцы. Хорошо. В Асано служили? Очень хорошо. Фамилия? Кокушин. Хорошо. Семён Фёдорович Кокушин твой дядя? Очень хорошо...

И получили патриоты в конечном итоге каждый по пятнадцать лет.

Агентура НКВД раскинула сети по всей Маньчжурии, в том числе в самом сердце отряда Асано. В его штабе в чине майора служил Гурген Наголян, имевший доступ ко всем секретным документам. С 1944 года командиром отряда назначается Яков Смирнов, тоже, как выяснилось впоследствии, завербованный НКВД. Наголян по приходу в Харбин в августе 1945-го Красной армии красовался на улицах столицы Маньчжурии в советской форме с новенькими золотистыми офицерскими погонами. Конечно же, в чёрных списках чекистов Прокопий со своими товарищами фигурировал на сто процентов ещё до добровольной сдачи пограничникам.

Отряд Асано организовал полковник Квантунской армии Такэси Асано. Японец оказался благороднее Наголяна и Смирнова. Японцы, убегая из Маньчжурии от советских войск, в тупой мстительности кого-то из асановцев уничтожили. Остальных по приходу Красной армии арестовал СМЕРШ, в соответствии с имеющимся списком. Такэси Асано, узнав о предательстве белых офицеров, расстрелял и арестанткой судьбе своих бывших подчинённых, сумел добиться посещения Сунгари Второй, где в прошлом дислоцировался его отряд, и на плацу совершил ритуальное самоубийство самурая, сделал себе харакири, оставив записку: «Смертью своей свою вину перед вами искупаю».

Ганя

В конце 1947-го мой родной брат Ганя, Гавриила Ефимович, двадцать шестого года рождения, с двумя друзьями перешёл зимой границу и сдался советским пограничникам.

Манящий дух новой России принесла в Трёхречье Красная армия в августе сорок пятого. Мало кто из «русских китайцев» желал Советскому Союзу поражения в войне с Германией. Русские должны победить немцев! В это верили, на это надеялись. И вот победители Германии, победители Японии (надо было видеть, как драпали япошки из Трёхречья!) вошли в Драгоценку. Форма с погонами, как в царской армии, молодые, бравые и красивые, уверенные в себе воины. Мощная техника, современное оружие.

Не безоблачным было пребывание красноармейцев в Трёхречье и всей Маньчжурии. Для многих русских оно обернулось бедой. В Советский Союз под конвоем увезли каждого четвёртого мужчину, но этот факт почему-то не останавливал молодёжь...

Ганя был добрым казаком. Подростком отец доверял ему в скачках своих бегунцов, и Ганя не один раз приходил первым. Прав Прокопий, джигитовка в цирке не то. Круг арены, опилки, ограниченные скорости. А вот когда это демонстрируется на полном скаку на воле. У меня и в цирке-то сердце переходило на галоп, а уж в детстве на смотр... Две лошади

скачут рядом, на плечах у наездников в полный рост третий казак, правой ногой стоит у одного на плече, левой – у другого. Акробатической этажеркой скачут парни под одобрительные возгласы публики. Японцы, как отец рассказывал, очень любили смотреть джигитовку. Чуть не всем гарнизонном приходили. Лошадь скачет, а казак сделал на седле стойку на голове. Это не в пол головой упереться и держать равновесие – ты на всём скаку...

У меня в детской памяти отпечатался на всю жизнь праздник Петра и Павла. Середина лета... Небо бездонной синевы. В Драгоценке с утра коловращение, со всех деревень понаехали казаки. Служба в храме, потом казачий смотр. Ни один не обходился без рубки лозы. Чем-чем, а этим должен владеть каждый казак. Летит он, подавшись в седле вперёд, летит туда, где подрагивает на ветру прутик лозы, сталь клинка горит на солнце... А ты заморожено следишь, особенно, если в седле твой старший брат, следишь, как быстро сокращается расстояние между казаком и целью. И вот замах, просверк шашки, издалека покажется, что лоза продолжает стоять, нет – падает. При этом не должна на кожеце коры повиснуть – плохой удар. Позор, если казак вместо лозы рубанул коня по уху или круп поранил...

Всегда на ура проходили соревнования по демонстрации казаками искусства приёма – когда, пустив коня в галоп, наездник на бешеной скорости ловко хватает с земли предмет. Поднимает не абы что, не безделицу, посмотрел и выбросил,

вовсе нет, в том и заключается интерес – не одну лишь удаль показывает казак, в руках у него оказывается существенный приз. Здесь целый спектакль разыгрывается. Из группы зрителей выходит богатый и авторитетный казак, он предварительно завяжет в белый носовой платок, чтобы хорошо было видно его на земле, приличную сумму денег... Мелкой купюрой не отделаешься, вся станица будет вскоре судачить, сколько отвалил такой-то победителю – пожадничал или расщедрился на полную. Бывалый казак важно бросит на землю приз, посмотрит на молодых казаков, мотнёт призывно головой, дескать, а ну-ка, удалыцы-молодцы, покажите-ка, на что вы годны, есть среди вас настоящие казаки, а если имеются такие, кто на сегодня самый ловкий да смелый...

Поодаль группа молодых казаков верхами, стоят в нетерпении, и себя сдерживают и коней, тем тоже передаётся возбуждение наездников. Каждый казак не прочь завладеть заветным призом. Зрители повернули к ним головы, ждут: какой удалец первым попытает счастья? Вся станица – матери, отцы, девушки-казачки – стоят в ожидании... И вот один отделился, пришпорил коня, полетел к белому пятну... Приближаясь к нему, будто пулей сбитый, падает к земле... И раз – платок в кулаке... Зрители возбуждённо кричат, приветствуя удачливого казака: «Любо!» А он победно возносит руку с призом над головой...

Не такая уж исключительная редкость – платок с деньгами оставался на прежнем месте. Казак или коня чересчур

разгорячит, или начнёт падать не вовремя... Подведёт глазомер... Промахнётся, загребёт рукой воздух, проскочит мимо... Прощай денежки, второй попытки не даётся. Вот уже кто-то другой летит к заветному пятну на земле... Лишь одним способом разрешалось исправить оплошку. Его я видел своими глазами в исполнении Гани. Он, казалось бы, всё правильно рассчитал, я чуть не закричал «ура», да рука брата прошла рядом с платком, каких-то сантиметров не хватило. Трибуны разочарованно зашумели. Только Ганя вдруг резко осадил бегунца, и тот упал на бок... Приём сложный. Конь и казак должны отменно понимать друг друга. В бою так можно поднять с земли и положить на лошадь тяжело раненного товарища... Или начать вести огонь из винтовки, используя верного коня в качестве защиты. По команде конь падает на бок, наездник вовремя освобождает ногу из стремени, крупом бы не подмяло... Брат так и сделал. Урёшка, он был под Ганей, упал, Ганя ловко соскочил на землю, вернулся к призу, победителем взял платок и под одобрительный гул односельчан вернулся к коню, вскочил в седло...

Ух, радовался я, ух, кричал до хрипоты: «Любо!» Как же – Ганя, брат Ганя приз взял! Всех ловчее оказался!

После смотра и бегов начиналось отмечание праздника. Кто постарше шли по домам. Многие начинали праздновать тут же. Предприимчивые китайцы-торговцы стояли наготове с выпивкой, закуской. Налетай-покупай.

Был такой ритуал. Молодые казаки быстро сооружали за-

столье. Для чего выкапывалась в форме подковы (обязательно подковы – праздник казачий) узкая траншея, глубиной, может сантиметров шестьдесят. Садись на землю лицом внутрь «подковы», ноги в траншею ставишь, а матушка-земля перед тобой – это стол, который тут же заполнялся нехитрыми яствами. Победители скачек «проставлялись», говоря по-современному, угощали побеждённых, друзей, родственников.

Праздник не заканчивался после завершения застолья в «подкове», одни компании направлялись к китайцам в харчевни, другие – по гостям. Молодые казаки, разгорячившись водочкой, могли продолжить демонстрацию мастерства в джигитовке, но в неофициальном формате: не на месте казачьего смотра, а в условиях, максимально приближённых к естественным.

Китайская улица в Драгоценке была единственной в своём роде. Представляла собой не что иное, как торговые ряды – вся улица в лавчонках. На добрые полкилометра тянулись по обе стороны бакалейки, забегаловки, харчевни, парикмахерские, пошивочные мастерские. Продавали мануфактуру, керосин, чай, сахар, всякую мелочёвку, при желании можно было заскочить и выпить стаканчик наскоро и в охотку пельменей китайских поест, а хочешь, так не торопясь посиди с товарищами за бутылочкой, поговори всласть, не обременяя шумной компанией жену и домашних...

У китайца-торговца перед лавочкой обязательно в каче-

стве рекламы фонарь красочный. Не надувной, само собой, резиновых не было. Проволочный каркас диаметром с полметра обтягивался бумагой или материей и вывешивался на бечёвке рядом с входом в лавочку, метрах в двух от земли. Этот фонарь и привлекал молодых казачков, у которых шашки чесались до боевого дела. Бывало, подопьют, вскочат на коней, клинки наголо... Один по правой стороне улицы полетел, другой – по левой... И ну срубать шары один за другим.

Торговцы один ругается, другой смеётся, третий восхищается ловкостью удалцов. Не велика беда шар на место водрузить, а завтра эти же казаки придут к тебе... Нередко брали выпивку под запись. Рассчитывались не с получки, такой, знамо дело, не было. Парни тайком от родителей надевают долгов, а потом везёт должник с мельницы муку, один-другой мешок припрячет, дабы китайцу-лавочнику кредит погасить.

Бегунцы у отца всегда были загляденье, но и наездник свою роль играл. Отец доверял Гане, и тот не подводил. А и пошалить Ганя любил, к примеру, в тот праздник, когда платок с деньгами взял, пронёсся по Китайской улице, срубая шары...

В декабре 1947-го Аргунь встала, а ближе к Новому году Ганя с Алёшкой Музурантовым и Никитой Соколовым по льду перешёл на советскую сторону. Перед этим случилась у парней драка с китайцами, и одного китайца убили.

Ганя участвовал в драке. И хоть не он смертельно приложился кулаком, решил – надо уходить, китайцы сильно разбираться не будут «прав или виноват», а какая бы ни была тюрьма в Союзе, она, посчитал Ганя, предпочтительнее, чем китайская для русского. Все знали, в китайскую лучше не попадать – можно выйти инвалидом. Ганя сказал родителям о своём твёрдом решении и ушёл. Он и раньше собирался тайком от родителей рвануть за Аргунь, тут уже сам Бог велел...

Пограничники гостей сразу передали чекистам. Следователь на первом допросе спрашивает Ганю:

– Семён Фёдорович Кокушин кто тебе?

– Дядя.

– Всё правильно, – посмотрел в свои бумаги следователь.

За дядю, поднявшего восстание в Кузнецово в 1931-м, получил Ганя десять лет по 58-й статье. За фамилию, больше не за что, ему всего-то шёл двадцать первый год. У белых не служил, в Асано не призывался. А к «десятке» политической приплюсовали ещё три года за незаконный переход границы.

Ещё до следствия гнали Ганю этапом, человек пятнадцать их шло, в Читу. В селе Шелопугино объявил конвой привал. Зашли парни вчетвером в избу, хотели обменять какие-то свои вещи на еду. Обычная бревенчатая изба, надвое разделённая перегородкой. Русская печь рядом с входом, в красном углу икона, лавки по стенам. В доме одна хозяйка. Радужно арестантов приняла, пригласила пройти, погреться.

Достала из русской печи чугунок картошки... Ганя в горницу заглянул, а на тумбочке гармошка. Потёртая трёхрядка. Ганя сам немножко баловался. Не из записных деревенских гармонистов, но кое-что умел...

Отец у нас тоже немного играл. Перед глазами картина. Я стою вечером в ограде. Это, скорее всего, было в пасхальную седмицу. В тот год весна ранняя пришла. Синие сумерки. И смотрю, отец на лошади верхом, а в руках гармошка. Ворота из жердей – высота, может, метр тридцать, метр сорок – я не успел подскочить и открыть, а отец в сумерках не заметил, что они закрыты, и скачет чуть не галопом на препятствие... Но конь казацкий (кажется, Рыжка был) одним махом перелетел барьер. Я только ойкнул...

Ганя увидел в избе гармошку, у хозяйки спрашивает:

– Тётенька, кто играет?

Средних лет женщина рукой махнула:

– Да тут ссыльный дед...

И называет:

– Иван Фёдорович Кокушин.

Ганю обожгло: это ведь дядя! Родной дядя! Всё совпадает – фамилия, имя, отчество. По рассказам отца знал, что дядя Ваня неплохой гармонист. Никогда его Ганя не видел.

– Где он? – спрашивает хозяйку.

– Дрова заготавливает, скоро придёт.

Ганя мне рассказывал:

– Твержу одно: Боже, дай повидаться с дядей! Дай увидеть

его! Молюсь, ведь в любой момент конвоир может скомандовать: «На выход!» И погнать дальше.

Друзьям Ганя сказал, что гармошка, похоже, его родного дядюшки, с которым никогда не виделись. Дядя Ваня заходит, удивился – незнакомый люд в избе. Ребята вчетвером на лавке сидят. Один говорит:

– Ну-ка, дядя, погляди-ка! Среди нас родственник твой! Угадаешь кровь родную?

Ивану Фёдоровичу шёл тогда шестьдесят шестой год. Седой уже, но крепкий. С одного взгляда по обличью узнал племянника, указал на Ганю:

– Этот из Кокушиных!

Дядю Ваню раскулачили и отправили с женой на спецпоселение. Дочерей, Таю и Шуру, он ухитрился оставить в Кузнецово. Жена умерла, дядя перебрался в Шелопугино. Сын его Артём с вооружённым отрядом родного дяди – Семёна Фёдоровича Кокушина, одного из командиров восстания против коллективизации – ушёл в Драгоценку.

Ганя с дядей Ваней обнялись. В доме, конечно, разговора не могло получиться. Выбрали какую-то минутку, вышли на крыльцо, Ганя рассказал, что Артём арестован, дядя Сеня арестован, в сорок пятом обоих в Союз увезли. Не знал Ганя, да и откуда мог знать, что дяди Сени уже нет в живых. Сказал, что бабушка в тридцать третьем умерла, поведал вкратце о нашем отце, о дяде Кеше, дяде Феде, остальных родственников, что жили в Трёхречье.

– Дядя Ваня зубами закрипел, заплакал, – рассказывал Ганя. – Слёзы потекли по щекам. И говорит с болью: «Зачем ты, племянник, сюда пошёл? Зачем?» Смахнул слезу: «А Тёма! Я-то думал, хоть у него в Драгоценке всё хорошо...»

Тоже случай, Божий промысел. А случайно ничего не бывает... Никто из наших больше дядю Ваню не видел. Мой отец начал искать его, когда мы в пятьдесят четвёртом приехали в Союз, но не успел найти живым, получил известие, что в 1955-м Иван Фёдорович Кокушин умер. В Шелопугино похоронен. Про Артёма на наш запрос сообщили, что умер в лагере в Воркуте. Дочерей дяди Вани отец разыскал. Тая жила в Лесосибирске, скончалась в доме престарелых. Детей у неё не было. Мой брат Митя ездил в конце семидесятых к ней. Шуру, Александру Ивановну, занесло на Дальний Восток. Тоже детей не было. Раза два присылала нам посылки с красной рыбой. Умерла уже... Царствие им Небесное...

Все братья моего отца, даже те, кого никогда не видел, сохранились в памяти потому, что отец о них рассказывал. Он разыскал всех, кого смог найти. Никто, ни дядя Кеша, ни дядя Федя, приехав в Союз, не пошевелили, как говорил мой отец, рогом в поисках родных, только отец. Он стремился знать всех родственников, весь свой корень. Чувство родства было у него редкостное. Задался целью ещё в Драгоценке, когда собирались на целину, говорил нам:

– У меня в России много родственников, надо всех найти. Взял на себя эту объединяющую миссию. И рассказывал

обо всех мне, как бы передавая информацию:

– Это наша фамилия, наша кровь. Не обязательно тесно родниться с каждым, тут уж как Бог даст. Но я должен всегда знать, как мне молиться за того или другого: о здравии или уже о упокоении.

Материализм Прокопия

В 1954 году, двадцать шестого июля, мы железной дорогой приехали из Маньчжурии на станцию Чебула, это Новосибирская область, выгрузились, а дальше повезли нас в кузове грузовика в Чебулинский свиновхоз на птицеферму. Жильё – два длинных барака. Чуть раньше туда доставили переселенцев из Маньчжурии по фамилии Мунгаловы и Парыгины. У нас две семьи. Брат Афанасий женился в 1951-м, у него росли две дочери. Выделили семье Афанасия комнату в бараке и нам через стенку на восемь человек чуть побольше площадью – квадратов двадцать. Условия ещё те... Крысы бегали...

Школа за семь километров. Ходили осенью и весной пешком, зимой управляющий лошадь выделял.

Отец, чуть обжились (приехали – ни картошки у нас, ни моркошки, ни лука на зиму, а семья-то дай-то Бог каждому), стал активно искать сына Гавриила и братьев: Ивана, Василия, Семёна. Про дядю Сеню, бывало, скажет маме:

– Семёна живым, навряд-ли, оставили.

Мама перебьёт:

– Не каркал бы ты, отец.

Прав оказался. Кто-то подсказал адрес, куда писать в Москву. Отец определил меня в писари. Ганю разыскали быстро, весной 1955-го. В августе пятьдесят шестого он

освободился. При Хрущёве срок скостили. А так бы ему ещё семь лет сидеть.

На всю жизнь врезалась в память наша встреча. В тот день я был на совхозном покосе – метали сено. Волокушами подвозили копны, я вилами подавал на стог, в той местности стога называют зародами. К вечеру от такой работы ни рук, ни ног, одно желание – упасть и не вставать. Привезли нас на птицеферму, захожу в свой барак, и Бог ты мой! Неописуемой радостью обдало. Забыл про усталость, про всё на свете! Счастье-то какое – Ганя, брат Ганя за столом.

У меня все эти годы хранилась Ганина кожаная сумка. Ремень через плечо, клапан, застёжка какая-то – харчи возить. Берёг, не знаю как – брата вещь, память о нём. С детским оптимизмом верил, даже когда ничего не знали о нём, твёрдо верил: Ганя жив! Обязательно жив! Не может быть иначе. У мамы вырвется иногда: «Как там наш Ганя?» Раз застал её, стоит на коленях перед иконой, лицо мокрое от слёз. Резануло по сердцу: за Ганю молится.

Увидел его в бараке, застыл в дверях, Ганя вскочил навстречу, обнялись. Ему тридцать, мне шестнадцать. В памяти у меня он молодой, ещё не брился, тут мужик. Мама говорит:

– Павлик, сбегай, огурцов нарви.

Ганя следом встал:

– Вместе сходим.

Огородик был от барака метров за сто пятьдесят. Места

сами по себе красивые, речушка Кривой Ояш, метра два-три шириной, с заросшими ивняком берегами, вода холодная. Выше по течению стояла старинная деревня Кривоояш, туда в школу ходил. Вблизи речушки наш огородик. Подошли к грядке, Ганя заплакал. Грядки были не на земле, на подъёме – парник. Так лучше растёт, созревает быстрее. Я на даче выращиваю на земле. У соседки парник (корову держит – с навозом проблем нет), недели на две раньше, чем у нас, поспевают огурцы. У парника Ганя заплакал, да горько так – слёзы побежали-побежали. И не сдерживается... Столько лет не видел огуречных грядок...

Я в восемьдесят восьмом году купил под Любино старый домик, завёз материал и через два года взялся строить. Ганю позвал на помощь. Беру летом отпуск, Ганя из Казахстана приезжает, он жил в селе Троебратное, и мы и с ним весь мой отпуск вдвоём строим. За три лета поставили стены, оштукатурили внутри. В лагере Ганя прошёл зековские строительные университеты. Говорил:

– Я специалист безразмерного профиля.

И сварщик, и плотник, и кладку кирпича мог гнать, штукатур, отделочник отличный... А был ещё скорняк и портной...

В 1948-м его на барже по Енисею доставили в Норильск. В лагере в первый день столкнулся с земляками из Трёхречья, которых в сорок пятом СМЕРШ забрал, они сообщили радостную новость: тут Прокопий Кокушин. Ганя разыскал

двоюродного брата, тот упросил начальство перевести Ганю в свою бригаду, и почти восемь лет на соседних нарах спали, последней крошкой делились... Зеки восхищались братской дружбой...

Славно мы с Ганей поработали на строительстве дачи, ну и поговорили власть. С Ганей интересно, много читал, думал. Днём работаем, а вечерами сядем, выпьем немного... И каждую неделю устраивали выходной день, тогда уже без ограничения часов до пяти утра разговоры разговаривали... Он не один раз повторял:

– Вот, Павлик, я всегда верил в Бога, и плохо было, и хорошо – верил. В лагере случалось, до того тяжело, думаешь: да за что наказан на такую муку? За какие грехи каторга? В пятьдесят градусов мороза тебя гонят! Ветер, темень... Если ещё нездоровится... Упасть бы, казалось, и всё. За что? Но никогда Бога не похулил. Терпел. На всё Его воля. Прокопий, бывало, горячится: «Какой Бог? Нет никого. За что ты здесь мучаешься? За что я страдаю? Справедливо?! У нас к скотине во сто раз лучше относятся! Я шёл в Россию из любви к ней, с верой в Родину, которой буду служить, которой нужен... А меня мордой в парашу! Что это за Бог такой? Нету никого, нет!»

Есть у меня знакомый из новообращённых православных. В нём что-то от начётника. Ему требуется всё по формуле разложить. Как-то пристал:

– Вы говорите, в Драгоценке подавляющее большинство

верили в Бога. Это что – обязательно молились утром и вечером? Постились? Исповедовались? Причащались? Каждое воскресенье в храм?

Были и такие, но в общей массе, пожалуй, нет. На большие церковные праздники не работал никто. Это обязательно. На Пасху всей семьёй шли на ночную службу. Храм в Драгоценке, Сретенский Казачий собор, был не маленький, но на Пасху всё село не вмещалось. Народу набивалось, стоишь, и нет возможности толком перекреститься. Бывает, вообще никак, руку нельзя поднять. Яички, куличи освящали у стен церкви после крестного хода. Морозно, темно, только от снега и звёздного неба свет. Тут уже и смех, радостные возгласы, христосование... Батюшка идёт, кропит куличи, радостно глаголет: «Христос воскрес!» И такое счастье вторить ему: «Воистину воскрес!»

Домой вернёмся под утро, отец молитву прочитает, похристосуемся, яичками обменяемся и садимся разговляться. Пост строго не соблюдался в нашей семье. Мама постилась, остальные – нет. Но на Страстную неделю не готовилось мясное и молочное. Никто не ел скромное. Не скажу, чтобы дома молились. За стол сядем, отец перекрестится, мама тоже перекрестится и про себя, видно было по лицу, помолится. Поедим, отец встанет, перекрестится, поблагодарит Бога за хлеб-соль. Это обязательно, всегда и везде – в поле, на покосе... Я пошёл в школу в сорок седьмом, уже не было Закона Божьего, а до сорок пятого года – обязательный предмет.

Дома у нас висела икона Георгия Победоносца. С приходом советских взрослые боялись: церковные праздники отменяют, церкви закроют. Нет, официальных запретов не последовало.

Ганя остался верующим на всю жизнь. Ни лагеря, ни советская власть не поколебали его убеждений. Любил он Прокопия и сокрушался:

– Больно было, когда с ним спорили в лагере. Говорил ему: «Проня, моли Бога, чтобы выбраться отсюда, какой ещё материализм!! А он упрямый... Бьёт себя в грудь: «Я – материалист!» А Боженька всё видит. И вот у меня три сына, внуки, а Прокопий лежит в вечной мерзлоте, и дети бесславно ушли. Ни одного внука. Как хочешь, так и понимай. О мёртвых грех говорить с осуждением, да факт остаётся фактом. Есть, Павлик, суд Божий, даже и здесь...

Я уже вспоминал, как Прокопий первый раз к нам после лагеря приезжал в 1957-м. В другой его приезд хорошо запомнился момент. Тогда за столом сидели он, сестра его Мария Иннокентьевна, брат Николай Иннокентьевич, Ганя, отец мой с мамой. Прокопий отцу с вызовом бросил:

– Дядя Ефим, я в Бога не верю! Я – материалист по убеждениям!

Резануло меня по ушам. По сей день слышу его голос, горячий, в гордыне непримиримый.

Как объяснял Ганя, Прокопий по молодости прочитал какие-то заразные на атеизм книжки, да и червоточина в

мировоззрении его отца, дяди Кеша, не могла не сказаться, что-то передалось сыну.

Дядя Кеша, Царствие ему Небесное, на фронт в Первую мировую не попал, хотя был призван ещё в 1912 году (рождён в 1891-м), и всю войну простоял на границе с Монголией. Несколько месяцев служил в одном полку с атаманом Семёновым. Когда началась революция, затем Гражданская война, оказался в Канске, служил в милиции, мужик был грамотный, читал книжки, горячо ратовавшие за коммунизм, атеизм и всеобщее безбожное равенство. Даже Маркса читал дядя Кеша. Да ещё тесное общение с казачками-фронтовиками сыграло свою роль. Распропагандированные большевиками, они дезертировали с передовой и принесли в Сибирь, в Забайкалье соблазнительные идеи: земля нам! власть нам! Бога нет! воля отныне и навеки простому люду! А раз Бога нет – гуляй, рванина, бояться некого... Уравниловка многим отравой запала в голову...

Мой отец, он в 1990-м скончался, тридцать шесть лет, что жил в Союзе, терзался, задавая себе и окружающим вопрос: почему так случилось? И не находил ответа. Ему казалось – дикий абсурд, как было не понять дьявольскую уловку коммунистов-большаков столкнуть русских лбами? На гулянках, бывало, хватал за грудки станичника Банщикова Степана Павловича. Тот участник Первой мировой, урядник (два Георгиевских креста), пошёл за красных, а в результате оказался в Драгоценке. Отец тряс его, вопрошая:

– Ты, казак, георгиевский кавалер, урядник, почему добровольно, не под ружьём, не из страха смерти поддержал красных? Ты что, голодал? Тебя палкой работать заставляли? У тебя земли не было?

Степан Павлович был широк в плечах, на полголовы выше отца. Он виновато улыбался, как нашкодивший школьник, жал плечами. Не было у него ответа.

В Драгоценке как-то отец с друзьями загулял. Натуру имел широкою. Мог привести домой до десяти мужиков. Где-нибудь начнут, а потом зовёт:

– Айдайте ко мне.

Заходит, водку на стол, матери:

– Васса Петровна, люби и жалуй моих гостей!

Мама без радости принимала такие компании, но и не выгоняла. До песен мужики сидели. Когда в красной избе, когда и в зимовье... Это случилось году в 1952-м, сразу после Троицы, вот так же пришла компания человек шесть, среди них дядя Кеша. И вдруг слышу, крики, стук. А мы с мамой в огороде, она мне:

– Павлик, беги, чё-то шумят больно!

Я в зимовье, гляжу: мужики отца моего и дядю Кешу растаскивают, лавки повалены, четверть по столу катится, водка льётся из горлышка... Заспорили о политике, о социализме, и до кулаков у родных братьев дошло... Дядя Кеша в этой свалке руку обжог о плиту...

В дядю Кешу идеи революции крепко засели: царей – вза-

шей, дворцам – война, труженикам города и деревни земной рай в мозолистые руки. И ведь никакие коммунистические газеты в Драгоценке (там их быть не могло) его не обрабатывали, никакое радио не пело в уши. Наоборот, сколько живых примеров, подтверждающих обратное для мозолистых рук... Родного брата Семёна того же взять... А работа СМЕРШа в 1945-м... Был же у отца крепкий иммунитет на большевиков. Он-то, казалось, пацаном Гражданскую видел, порошу не нюхал... Только и всего – со своей лошадью привлекался белыми к работе в обозе – перевозил грузы для военных нужд. В одной поездке заразился тифом, но его мать, моя бабушка, выходила...

В начале 1956-го брат Афанасий с семьёй переехал из Новосибирской области в посёлок Песчаное Павлодарской области. Меня родители отправили с ним. Жили на квартире у младшего сына Иннокентия Фёдоровича – Николая. Он с двадцать шестого года. Тоже, кстати, из тех, кто убежал в Советский Союз. В 1948 году махнул. Повезло, политическую 58-ю статью не вклеили. Но не на сто процентов с распротёртыми объятями был встречен родиной патриотический порыв. За переход границы три года отсидел.

Дядя Кеша жил в Песчаном вместе с дочкой Марией. Их домик почему-то назывался финским, хотя чухонцы никакого отношения к этому проекту не имели, таких домов строилось в Казахстане много, главным строительным материалом был камыш. Он в щиты собирался и с двух сторон обмазы-

вался глиной... Соорудил дом дядя Кеша сам. Я частенько на пути из школы заходил к нему побеседовать. Дом стоял на берегу протоки Иртыша. Идеологические споры мы не заводили, куда уж мне, девятикласснику, соваться, расспрашивал дядю о Забайкалье, о жизни до революции в Кузнецово, о казачьей службе, о Гражданской войне, о Трёхречье, нашей родне... Что касается стародавней жизни, я с детства любопытствовал. В память врезалась картина... Дядя Кеша сидит в казачьей гимнастёрке, старенькая уже, для домашнего употребления, голова наголо острижена, сколько его помню – всегда почему-то под ноль стригся, сидит на стуле и смотрит в окно... Стояла весна, лёд только что сошёл, за окном тяжёлая, холодная вода протоки, заречные дали... Смотрит дядя Кеша задумчиво, как бы отвечая кому-то, говоря, вроде как и мне, и не только:

– Я думал, племянник, здесь по-другому жизнь устроена, не ожидал, что вот так.

В принципе, отказался от своих убеждений. Брату своему, отцу моему напрямую сказать не мог, гордость не позволяла, а мне...

В 1964 году, жил уже в Лесосибирске, пошёл на автобусную остановку, упал и умер мгновенно.

По натуре был азартный, нетерпеливый. Может, думается мне, потому и клюнул на быстро-сладкие идеи рая на земле – равенства, безбожного коммунизма-материализма? Любил карты, бега. Ни одни скачки в Драгоценке без его бегунцов

не обходились. Не мелочился – славился большими ставками. И картёжник заядлый, мог проигратся в пух и прах, но и выигрывал, случалось, помногу. Характер горячий, уж если заусилось – остановиться не мог. Или пан, или голова в кустах.

Почему рано умер? Однажды выиграл в карты большой капитал. Отец говорил: в переводе на лошадей – с десятков добрых коней мог купить на те деньги. Видать, выпивка была. Хотя вот здесь дядя Кеша отличался умеренностью. В отношении вина больше на дядю Федю походил, чем на моего отца. Отец запросто мог потерять меру, дядя Кеша никогда не напивался. После крупного выигрыша, кажется, в буну играли, соперники, их было двое, из зависти набросились на него с кулаками. Не могли примириться с проигрышем. Где игра, там обязательно есть недовольные, бес это знает, ну и сработал, подтолкнул на драку... Возможно, проигравшие деньги хотели отобрать. Дядю Кешу с ног сбить – это сильно постараться надо было, при невысоком росте кряжистый, сильный. Из такого мужика двух можно было выкроить. Всё же шкворнем по голове достали... Подленько, сзади... Долго отлёживался и потом жаловался на головные боли... Через много лет травма сказала роковым образом.

Сыновья, Михаил (умер в 1949-м от аппендицита в Драгоценке) и Прокопий, уже были в силе, отомстили на следующий день за отца, бока обидчикам намяли, мало тем не показалось. Прокопий боксом занимался...

Отец мой, кстати, тоже по натуре был азартным, но в карты не садился... Бега – да... А ещё охота... Как сейчас помню, я мальцом-первоклашкой прихожу из школы, во дворе стоят сани, на них волк убитый, волков много водилось в Трёхречье, у этого вместо лапы культя торчит... Спрашиваю отца:

– Что такое?

– В капкан попадал, отгрыз и ушёл.

Меня это поразило, даже попытался укусить себя за руку – больно ведь... А тут отгрыз лапу напрочь...

Прокопию судьба выпала жестокая. Освободившись из лагеря, остался в Красноярском крае. От природы способный, выучился на буровика, стал начальником буровой установки в геологоразведке. В 1966 году я в институтском читальном зале открываю «Огонёк» – ой, батюшки! На второй странице обложки Прокопий Иннокентьевич! У буровой установки. В каске... Без того здоровый мужик, в брезентовой робе – вообще богатырь! Такой казачина бравый... Как я обрадовался. Побежал в киоск, купил журнал, товарищам хвастаюсь:

– Видите, брат двоюродный! Прокопий!

Он поколесил с геологами по Красноярскому краю. А семья жила в Норильске, туда же переманил потом сестру Марию из Казахстана. В Норильске родились у Прокопия сыновья: Толик и Саша. Толик – умница, поступил в Ленинградский университет. Без всякого блата с первого раза на одни пятёрки экзамены сдал.

Последний раз мне удалось увидеть Прокопия в 1981-м. Неожиданно подвернулась командировка. Начальник вызывает к себе и начинает просительным тоном:

– Павел Ефимович, надо в Норильск слетать. Срочно.

Декабрь месяц, холодина. В Норильске вообще жуть стояла, ниже сорока пяти температура и с ветром. В Драгоценке такое бывало, но я уже отвык. Начальник не знал, что у меня за Полярным кругом родственники. Я восторженные эмоции дипломатично не показываю, смолчал, что в Норильске брат, к нему бы и в шестьдесят градусов не испугался...

– Надо, – говорю, – так куда денешься.

– Я в долгу не останусь, – обрадовался начальник.

Сдержал слово, премию выписал. И я побывал в местах, где два брата каторгу отбывали.

Прокопий, бедолага, был прикован к постели. Паралич. Жалкая картина. Не разговаривал. Сестра предупредила: может не признать. Но узнал. Я рассказал о родных: братьях, сёстрах, дядюшках. Кивал головой... По жизни Прокопий не любил пьяных, кривился, когда водкой от тебя пахнет... Я, как приехал, с мороза выпил стопочку, не удержался под пельмени, поэтому старался в сторону от него говорить...

Умер, Царствие ему Небесное, через два месяца.

Иногда думаю: Бог пожалел Прокопия, дал ему смерть раньше сыновей. Толик через год после него...

Похоронив Прокопия, жена его Катя перебралась, как у них говорят, «на материк», в Красноярск. Толик окончил

первый курс университета в Ленинграде. А на втором заболел воспалением мозга. Не исключаю, сказались климатические условия севера – солнца мало, полярная ночь... Врачи не сразу определили, что к чему. Температура скачет, головные боли. Учиться нет никакой возможности, Толик взял академический отпуск, поехал в Красноярск... Пошёл по врачам. Лечили его, но на какое-то время боль отпустит и снова... У меня голова болит, как пожадничаю парной... Переусердствую, а часа через полтора начинается... Если нет под рукой таблетки – аспирин хорошо помогает – на стенку готов лезть, настолько выматывающая душу боль. Страшно представить, когда подобные мученья нельзя ничем унять, и они изо дня в день... Толик не выдержал. Мать вечером приходит с работы, а на столе записка: «Мама, пожалуйста, не суди меня...» Сначала перерезал вены дома... Но, видно, не мог уже терпеть, жили недалеко от затона, бросился в прорубь. Ещё и двадцати не было парню...

Младший сын Саша активно занимался борьбой. По физическим данным в отца. Кандидат в мастера. Отслужил армию в спортроте. Демобилизовался, а тут перестройка, попал в компанию. Его тётка, моя двоюродная сестра Мария Иннокентьевна, рассказывала. Как-то Саша пришёл домой с товарищем и принёс чемоданчик. Посидели, попили чаю, ушли. Мать Сашина стала делать уборку в комнате сына, глядь – чужой дипломат. Женщина есть женщина, любопытства ради открыла и ужаснулась – деньги. Тогда ещё были

купюры с портретом Ленина. В дипломате сплошь двадцатипятирублёвые и десятки. Стала спрашивать сына. Он:

– Мам, не бери в голову, друзья попросили.

Дескать, он и не знал, что там деньги. Месяца через два собрался ехать в Новосибирск, матери сказал:

– Еду на соревнования.

Милиция следила за их бандой. В частном секторе в Новосибирске окружили дом. Предложили сдаться. Банда не согласилась. Началась перестрелка. Саша решил прорываться, выскочил через окно, кулаком сбил милиционера, что оказался на пути, потом перемахнул забор... Но операция проводилась основательно, возможные пути отступления перекрыли – другой милиционер прямо в лоб Саше выстрелил.

Тогда наркотики только-только начинались, Сашина банда занималась этой заразой. За месяц до своей смерти Саша приезжал в Норильск. Уверен, не ради того, чтобы погостить у своей родной тётушки Марии Иннокентьевны. Та после Сашиных похорон вернулась из Красноярска, к ней за явились с обыском из КГБ. Комитетчики в Сашиной записной книжке нашли норильский адрес и тут же стали проверять родственницу убиенного на причастность к наркоторговле.

Так и погибли Толик с Сашей. В 1994 году я был на их могилке в Красноярске, лежат в одной оградке... А Прокопий упокоился в вечной мерзлоте...

Троебратное

Боже, каким отец ходил счастливым, получив первое письмо от Гани из лагеря. Конечно, и мама, но та сдерживалась на людях. Отец светился, всем докладывал:

– Сына нашёл! Гавриил Ефимович, старший мой, откликнулся! Жив, Ганя, жив казак!

Ганя после лагеря подался в строители. Ирония судьбы или ещё как назови: в Казахстане казаки-забайкальцы, изгнанные сначала Россией в Маньчжурию, а потом Китаем в Советский Союз, сделали ещё одну попытку собраться вместе... В Новосибирской области родители прожили более двух лет. Быстро поняли: оставаться на птицеферме – тупик. Совхоз никакого жилья, кроме барака, не мог предоставить, строить отец не видел смысла. Он вёл переписку с земляками, один из них – Кузьма Матвеевич Музурантов – позвал в Казахстан. Было двое Музурантовых – Кузьма и Андрей... У них возникла идея подтянуть трёхреченцев в Троебратное. Село стояло в пятнадцати километрах от границы Казахстана с Россией, и оказалось на железнодорожной ветке Курган – Кокчетав, построенной под освоение целины. Станцию называли Пресногорьковская, в двадцати пяти километрах был районный центр Пресногорьковское, бывшая казачья станция Сибирского казачьего войска, одна из тех, что стояли по Горькой линии.

Чем соблазнял Музурантов земляков, сзывая их в Троебратное – наличием дешёвого и даже почти дармового стройматериала. На узловой Пресногорьковской станции находился пункт мытья товарных вагонов. Поставили под это дело паровоз для подачи горячей воды... Вагоны из-под цемента. Его возили не в мешках. Дуроты на целине хватало выше крыши. Я впервые поехал в Троебратное в июне 1957-го, выхожу на перрон, и в нос ударил винный запах. На платформе гниют огромные бурты зерна, что осенью не вывезли... Цемент разгружали так, что на полу вагона оставалось как минимум по щиколотку, а то и по колено первоклассного стройматериала. Собирай перед помывкой вагона, забирай – это уже ничьё. Дармовыми были добротные стойки, которыми крепился пиломатериал на платформах. И сам пиломатериал шёл большим потоком на целину, приобрести его, в том числе и вполне официально, не составляло труда. За пиломатериалом на станцию приезжали снабженцы целинных совхозов, и всегда можно было договориться с кем-нибудь из них купить кубометр-другой досок. Без проблем было запастись кормом для скота на зиму. Осенью водители-солдаты машину зерна предлагали за литр водки.

Трёхреченцы начали кучковаться в Троебратном. Ехали из Новосибирской, Омской, Курганской областей. Железная дорога делила село на две части. Трёхреченцы стали массово строиться в одной из них. Только Музурантовы поставили восемь домов. По дому каждый из братьев, а также детям.

Отец мой два дома построил. Первый по забайкальскому способу – мазанку. Рубится чаща, ивняк, из него плетётся плетень на каждую стену. Плетень обмазывают глиной – вот тебе и стены. Сенки пристраиваются. Осень, зиму и весну в мазанке прожили, а потом шлакоблоки лили и к следующей зиме стены обложили блоками. В конце пятидесятых ещё один дом отец выстроил. И братьям, Гане и Мите, по дому поставили.

Ганя жил строительством. И официально в строительной организации работал, и подрабатывал... Как-то при мне начал считать, сколько домов его руками возведено в Троебратном в конце пятидесятых – начале шестидесятых годов. Получилось, только казакам-трёхреченцам – четырнадцать. Строил кирпичную школу-десятилетку, клуб кирпичный. Я в него после армии ходил...

Мы жили по улице Интернациональной, на ней домов пятнадцать принадлежало выходцам из Маньчжурии: с Трёхречья, а также с КВЖД, как мы говорили – «с линии». А всего в Троебратном до развала Союза жило более восьмидесяти семей трёхреченцев и их детей... Только Кокушиных – десять, Музурантовых, как уже говорил, – восемь, Лелековых – шесть, Брагиных – пять семей, Фоминых – четыре...

Сейчас в Троебратном, в той части, где мы жили, как после войны. Остовы домов торчат... Школы, будто не было – по кирпичикам разобрали, от клуба я нашёл один фундамент. А казаки только под крестами на кладбище. Могил

двести трёхреченцев. Царствие им Небесное. В прошлом году был в Троебратном. Мама с папой лежат в той земле, дядя Федя, тётя Харитинья, старший брат Ганя, жена его, двоюродный брат Николай Фёдорович – мой крёстный... В девяностые годы основная масса потомков казаков ушла из Троебратного, благо Россия рядом. Вот и получилось: из Забайкалья вытеснила революция и коллективизация, из Маньчжурии – китайская революция, из Казахстана – перестройка...

Кладбище в Троебратном не заброшенное. Один предприниматель (потомок трёхреченцев) забор добротный поставил, скот не топчет могилы. Поклонился я родным бугоркам, помолился у родных крестов, поплакал у памятника моего крестника – Алексея Гавриловича Кокушина...

Чекисты держали под контролем Троебратное. Алексей, старшин сын Гани, рос в отца – физически сильный, характером заводила. Мы его полугодовалим в 1958-м в Кургане крестили. Батюшка в солидном возрасте, старик, но крепкий, борода чёрная, строго вопрошает меня:

– Знаешь, что восприемник в случае смерти родителей берёт на себя заботу о крестнике?

Видит, я молодой, зелёный совсем, девятнадцать только-только исполнилось.

– Знаю, – твёрдо ответил батюшке.

Алёшка разорался, как водой его батюшка обливать начал... Крикливым рос...

Получилось – не крестник провожал к могиле восприем-

ника, а наоборот...

Алексей отменно в хоккей играл. Его команда по всему району первенствовала. Он и тренер, и капитан, и организатор заливки льда, выбивания экипировки. Рассказывал, в райком комсомола пришёл просить форму, спортивный инвентарь. Так и так, объясняет, группа ребят подобралась, двадцать пять человек, хорошая команда, три раза в неделю тренируемся... А ему с подозрением:

– И что, вы сами организовались? Так вы далеко можете пойти в своей самодеятельности.

Чекисты в Троеобратном хлеб честно обрабатывали. В Драгоценке среди посёльщиков находились агенты НКВД, и в Троеобратном не обошлось без осведомителей. Был такой Пешкин, потом-то узнали: сексотничал об умонастроениях односельчан-трёхреченцев. Для чекистов мы не простые целинники – из белогвардейской заграницы, как таких без внимания оставить. Ещё и ухитрились после Китая самовольно съехаться вместе, пользуясь либерализмом властей. Алексей – лидер среди молодёжи. Постоянно на виду был: в школе, в клубе, на стадионе. В округ него круговерть – друзья, товарищи... Алексея, призвав в армию, наладили, как мужика головастого и умелого, в элитные части – в стройбат. На Семипалатинский полигон. Шахты оборудовать для испытания атомного оружия. Нахвтался там, бедняга, радиации.

Казацкие гены не так-то просто получилось угасить. Алексей вернулся из армии, женился, троих детей родили

с женой, а потом у него все ногти выпали. В сорок три года умер. И брат его младший Николай в стройбате служил. Правда, в Капустинном яре, на ракетном полигоне. Наверное, и среднего сына Гани, Павла, засунули бы как какого-нибудь штрафника-уголовника, но тот призывался не из Троебратного, а из Кургана, его в танковые части направили.

У Гани была бумага официальная о реабилитации, он её сжёг... Повторял:

– Хозяин собаку обидит, она до смерти будет зло помнить, так и я.

Выбросил в печку документ о реабилитации:

– Что он мне? Разве вернёт годы, что в лагере провёл?!

А могла бы та бумажка пригодиться. У Гани два сына, за пятьдесят обоим, получали бы компенсацию, как дети репрессированного, пусть небольшую, но всё же рублей триста с чем-то, какие-то льготы по коммунальным платежам.

Я сочинил письмо от имени племянников, будто они сами сделали запрос. Пошёл в ФСБ, пропуск выписали, рассказал, что к чему, заявление от племянников оставил, через месяц пришёл ответ. Оказывается, никакой реабилитации брат не подлежит. Получилось, документ о полной реабилитации, который сжёг, ему по недосмотру выдали. По политической 58-й он действительно реабилитирован. Но ведь кроме 58-й у него статья за незаконный переход границы. А это совсем другое дело, по нему реабилитация не предусмотрена.

Афанасий и Митя

...Как-то не спалось, начал считать, и у меня получилось только из тех, кого знал лично, или наши рассказывали, человек пятьдесят ребят-трёхреченцев убежали в Советский Союз. Чаще переходили Аргунь зимой. В августе сорок пятого пришла Красная армия, brave русские парни, красивые, сильные, победные принесли с собой дух России, заломившей хребет Германии. В этой стране можно стать танкистом, лётчиком, учёным... В ней от восточной границы до западной две недели ехать на поезде... Там Москва с Кремлём, о котором рассказывали в школе, который видели некоторые казаки-забайкальцы, воевавшие в Первую мировую. Там русские братья. Там будущее. А в Китае ты иностранец, и чем дальше, тем холоднее отношение к русским...

Брат мой Афанасий Ефимович с двадцать седьмого года... Сыновья у моих родителей рождались тройками и парами. Первая тройка: Гавриил, Афанасий, Дмитрий – двадцать шестого, двадцать седьмого, двадцать восьмого годов рождения. Вторая – тридцать девятый, сороковой, сорок первый.... Старшая сестра Тоня с тридцатого года, младшая сестрёнка Галя с пятьдесят второго.

В Драгоценке школа была семилетка, а в сорок шестом сделали десятилетку. Афанасий в первом выпуске, в сорок седьмом окончил. Как сейчас помню: в школе старшеклас-

ники представление дают, на сцене брусья гимнастические, мой брат Афанасий подходит к снаряду и пошёл показывать фигуры «высшего пилотажа»... Невысокий, крепкий, стройный... Я, само собой, сидел гордый...

Он, как выяснилось, ещё в школе вынашивал с друзьями планы, наострились махнуть через границу. После сорок пятого появились советские учебники, книги. Учителя говорили: вас ждёт ваша Родина, вы нужны ей. В сорок восьмом, сразу после Крещения, Афанасий с двумя друзьями рванул. Взяли нашу лошадь – воспользовались моментом, отца с матерью дома не было, – запрягли в сани и дёру... Поехали вчетвером, один в качестве сопровождающего – лошадь пригнать обратно. Отец возвращается, глядь, саней нет, коня нет... С перекошенным лицом вбежал в избу:

– Где этот стервец? Когда уехал?

У меня за день до этого горло заложило, мама не велела выходить из избы, на полатах сидел, поэтому не видел, когда Афанасий улизнул. Мне он ни слова не сказал. Отец в седло и в погоню. Снегов в Трёхречье больших не выпадало, в сильные морозы земля растрескивалась. Всегда была опасность, лошадь (особенно, если подслеповатая) могла угодить ногой в трещину. Нога ломалась как спичка. Бог отца миловал, на бегунце Урёшке вёрст за десять до границы по санному следу настиг беглецов, завернул.

Афанасий после этого уехал в Харбин на повышенные ветеринарные курсы при КВЖД. Но не окончил их, с год по-

учился, бросил, вернулся в Драгоценку и пошёл в школу преподавать географию...

После неудачной попытки Афанасия младший Кокушин из первой тройки сыновей – Дмитрий – наладился в побег на советскую сторону. По льду и тоже с друзьями. Перешли границу и сдались пограничникам: хотим жить в России, а не на чужбине у китайцев. От него отец никак не ожидал такой прыти. Митя с детства страдал болезнью ног. До трёх лет вообще только ползал. Потом по молитвам матери поднялся на ноги. Но всю жизнь ходил тяжело. Среднего роста, кряжистый, хоть куда парень, а походка ненормальная... Физический недостаток не остановил, отправился за границу. Он и ещё четверо или пятеро таких же романтиков. Сговорились, лошадь тайком взяли, теперь уже не у нас, также нашли провозатого – лошадь вернуть. Всё получилось в лучшем виде. По льду перешли Аргунь и к пограничникам: вот мы, молодые и красивые, хотим жить в Советском Союзе, принимайте патриотов.

Пограничники, само собой, сграбастали нарушителей. И случилось невероятное – выгнали обратно: мотайте в свой Китай, и чтоб духу вашего здесь не было. Я хорошо запомнил, как Митя вернулся в Драгоценку. У меня дружок был, Витька Шароглазов. Он забегает к нам во двор:

– Ваш Митька вернулся!

Увидел нашего скорохода на улице, обогнал, спеша сообщить мне радостную весть. Отец на крыльце стоял, смотрю, у

него слёзы на глазах. Думал, Митя, как и Ганя, исчезнет бесследно. После убёга Мити отец места себе не находил, корил себя, что не уберёг сына, не нашёл убедительный слов...

Двадцать дней пробыл Митя с друзьями в Советском Союзе... Пока решалась судьба перебежчиков, их, искателей интересной жизни, привлекли к общественно-полезному труду – пилить дрова на нужды погранзаставы. Митя пообщался с пограничниками, поговорил с местными жителями. Воочию увидел послевоенную колхозную деревню. А что она была? У колхозника в подворье коровёнка, с пяток овец, пару свиней, одежка самая примитивная. Разве сравнить даже с худшими хозяйствами в Драгоценке...

Но Мите повезло. Думаю, НКВД сбой дал, не достал чёрные списки на Кокушиных, из которых явствовало, что дядя перебежчика – Семён Фёдорович – восстание поднял в тридцать первом, родной брат Гавриил и двоюродный Прокопий уже в лагерях с клеймом «политические», там же в ГУЛАГе двоюродный брат Артём... А, может, изменилось отношение к перебежчикам? Китай зароптал, жалко стало: народ уходит, оголяется приграничный район, если все побегут, кто будет держать северные территории. Дмитрия и его товарищей наладили пограничники обратно в Маньчжурию: идите вон, и чтоб больше вас не видели. После них так со многими поступали.

А за месяц до Мити наш двоюродный брат Николай Иннокентьевич, двадцать шестого года рождения, Прокопия род-

ной брат, убежал за Аргунь. Я о нём уже говорил, его не отпустили обратно, но и дали всего три года, только за переход границы. Отсидел и жил после лагеря в Красноярском крае. О нём мы узнали, когда приехали в Советский Союз. Писем посылать в Трёхречье из лагеря он даже с таким «детским» сроком не мог.

Всего ничего «гостил» наш Митя в Советском Союзе, но когда в 1954-м родители засобирались в Россию, категорически заявил:

– Ни за что!

Ругань стояла дома несколько дней, война шла на смерть. И отца отговаривал. Хотел в Австралию.

Митя потом (умер, Царствие ему Небесное, в 2007 году) говорил:

– Павлик, я пожалел вас, отцу было уже пятьдесят, а вас у него четверо, ты, самый старший, в седьмом классе, Гале всего два года. Как вы в нищей стране будете жить?

Патриотизм Митин рассеялся за несколько дней, что провёл на погранзаставе...

Ух, как он коммунистов материл, Ленина... Жил брат в Кургане. Сына воспитал. Был случай, работал Митя на мелькомбинате простым рабочим, образование-то всего четыре класса, и попал в медвытрезвитель. Это середина семидесятых. У Мити натура: как подопьёт – говорил во сне. По полночи мог ораторствовать. И не отдельными фразами, нет, чешет, как с трибуны, связано, пространно... И всегда мате-

рил большевиков... Тема номер один в пьяном сне. Целые монологи произносил. Над ним частенько подшучивали по этому поводу. В трезвом состоянии молчун, что спросишь – односложно пробасит, зато во сне, после того как примет стакан другой водки, как пойдёт выговариваться, выплёскивать накипевшее. Ганя смеялся:

– Митя, ты сегодня ночью прямо как Ленин на броневике».

– Хоть кто, только не Ленин, – смутился и возмутился Митя.

Забрали его в вытрезвитель. Отметили мужики день мукомола (получку) да Митя не рассчитал силёнок, денёк был явно не в его пользу, и загремел в весёлое заведение. Как сам говорил:

– Впервые в жизни отметился в вытрезвоне.

И раззвенелся по своему пьяному обыкновению среди ночи. Во сне произнёс горячую антикоммунистическую речь, богато унавоженную матами. Особенно нажимал в адрес Владимира Ильича. И по соратникам его революционным прошёлся. Всем, не скупясь, поднёс по матушке и по бабушке. Как назло ни один сокамерник не проснулся, не толкнул в бок оратора: хватит базлаить, не мешай спать! Дрыхли на соседних койках мертвецким сном. Митя и разошёлся без тормозов.

Утром лейтенант вызывает:

– Ты чё это, мать твою, нёс ночью?

Митя тоже не дурак:

– Откуда знаю? Пьяный в драбадан, за что и сграбастали ваши!

– Да за такие слова мало на Колыму упечь!

Митя тупо бубнит:

– Ничего не знаю, мало ли что с пьяных глаз человек во сне намолотить может. Работаю хорошо, на Доске почёта второй срок вишу.

Отбрехался.

Но двадцать пять рублей лейтенант с него слупил сверх оплаты за предоставленные услуги. Восемьдесят было в карманах у Мити, четвертную за политическую неблагонадёжность лейтенант конфисковал в свой карман:

– В следующий раз думай, когда спишь.

Митя рублей сто пятьдесят получал – в копеечку влетела ему пламенная речь.

Пропастину из Кремля

Я раз в подпитии тоже, было дело, намолол. Срок бы не получил, не те стояли времена, но из института могли вытурить. Сначала из комсомола, а дальше автоматически из института. Учился на последнем курсе, приехал после каникул из Троебратного на неделю раньше, дома подзаработал деньжат, хотел в Омске ботинки да пальто на зиму купить. В институт заскочил и с Олегом Морозовым столкнулся нос к носу, из нашей группы парень. Олег из комитета комсомола выходит.

– О, Паша, привет!

– Привет!

Он на четыре года меня младше, я-то после армии в институт поступил. Никогда с Олегом близки не были, в одних компаниях не гуляли, тут предлагает:

– Слушай, у меня сегодня день рождения, пойдём ко мне отметим это дело. Родители уехали в дом отдыха в Чернолу-чье.

Купили водки, как сейчас помню, три рубля двенадцать копеек стоила. Я деньги даю, он:

– Нет-нет, ты мой гость!

Покупаю ему в качестве подарка килограмм самых дорогих шоколадных конфет. Жили Морозовы в центре, на набережной. Хорошая трёхкомнатная квартира. Мать, уезжая,

борща Олегу наварила. По тарелке завернули под водочку. Колбаса, селёдка на столе.

После второй рюмки зацепились за политику. Меня понесло:

– Большевики воевали не за идею о всеобщем равенстве, а против России. Даже не против царя, а именно – против России!

Я знал это с детства, слышал, видел. Приехав в Советский Союз, на примере братьев, прошедших лагеря, понял окончательно. В армии много читал. Мне не нужен был ни Солженицын, никто. Олег талдычил, как по учебнику, о классовой борьбе, об угнетённых и угнетателях, социальной несправедливости. Я приводил примеры, как работала, воевала за Отечество моя родня, с каким сочувствием относились в Драгоценке к России. Прочитал ему строчки землячки Марины Чайкиной:

Там обычаи русские свято хранили –
В деревнях, вдоль прозрачных нетронутых рек.
И молился о благе великой России
В деревянных церквушках простой человек.

Вовсе не враги мы были Родине. И жили, как уже говорил, крестьянин с тридцатью головами скота считался малоимущим, он освобождался от поселковых налогов. Олег (Царствие ему Небесное, рано умер, до пенсии года три не дожил,

молюсь о упокоении его души) горячо возражал, доказывал. У него дядя-инженер отсидел десять лет, в тридцать седьмом забрали.

– Ну и что, – кипятился на мои доводы Олег, – лес рубят, щепки летят!

Я в ответ пример дал, как в августе 1945-го, переправившись на амфибиях через Аргунь, в Драгоценку нагрязнул СМЕРШ. Потом на «студебеккерах» стали увозить мужчин в Хайлар.

Олега ничем не пронять, раскричался:

– Они же в прошлом белогвардейцы, каратели! Уничтожали мирных жителей за сочувствие красным!

Но я-то знал не по книжкам, как сами красноармейцы (Гражданская война уже давно закончилась) зверствовали в сёлах Трёхречья. Почти все приграничные деревни по Хаулу снялись и ушли вглубь Трёхречья, не выдержав набегов карателей, не щадивших ни детей, ни женщин...

Собственно, Гражданская война давала о себе знать в Трёхречье и в двадцатые, и в тридцатые, и в сороковые годы. Японцы, придя в Маньчжурию, использовали белоказачков, засылали их со шпионскими и диверсионными целями в Советский Союз. Из-за Аргуни тоже приходили «гости». В Казахстане познакомился с земляком, дядей Андреем Фоминым. С сыном его Гошей нас призывали в армию. Они с Трёхречья, с деревни Верх-Урга. У дяди Андрея на лице с правой стороны на скуле страшная вмятина. На свадьбе в

приграничной деревне Караванной гулял (было это в середине тридцатых), вдруг его вызвали. С ещё одним парнем вышел за ворота, а там трое с винтовками, коней под уздцы держат. В гражданское одеты.

Сразу не поняли парни, что к чему, подвыпившие, весёлые, пошли за теми... А потом допёрло до Фомина – их же не так просто ведут. Эти трое уже нетерпеливо гонят парней, в спину толкают: быстрее шевелите ногами. Фомин говорил, что его с кем-то спутали, не он был предметом акции, по ошибке схватили, хотя как-то обмолвился, что служил у атамана Григория Семёнова в Особом Маньчжурском отряде (или ОМО). Пусть не офицером, но к этому отряду у чекистов было рьяное отношение. А с другой стороны вопрос: почему он в сорок пятом в лагерь не попал, членов ОМО хватили одними из первых? Ведут Фомина на расстрел. Я его уже в солидном возрасте видел, когда ему за шестьдесят было. Могучий мужик, огромной силы, косая сажень в плечах. Он напарнику по расстрелу шепнул:

– Ты бери одного, я двоих зашибу.

Тот побоялся ввязаться в драку за освобождение, понадеялся – обойдётся. Фомин так не считал, без помощи товарища набросился на конвоиров. Красноармейцы попались крепкие. Сбили Фомина с ног, один в голову выстрелил. Полчелюсти снесло пулей. Нерешительного напарника Фомина следом уложили наповал, а Фомина посчитали убитым: голова – кровавое месиво, явно – готов. И торопились, вдруг

из деревни прибегут на выстрелы. На лошадей вскочили и дёру. Фомин через какое-то время пришёл в себя, голова к дороге примёрзла. Отодрал, кое-как добрался до крайней избы. И выжил, народились дети.

С моим отцом они работали в Троебратном на станции, разгружали вагоны с углём. Однажды после смены пришли к нам, мама приготовила закуску, казаки выпили, Фомин начал рассказывать о себе. Да, забыл важную деталь – почему он, не сомневаясь, пошёл со свадьбы с этими тремя. Один из них был дальним родственником. Фомин с ним потом встречался. Ездил в Забайкалье в конце пятидесятых, родом был из Александровского Завода, там столкнулся с родственником. Посмеялись два казака, вспоминая кровавую стычку, этим и кончилась встреча. Фомина вылечил китаец, были среди них искусные лекари. Увечье осталось до смерти. Прожил он почти восемьдесят лет, шестьдесят из них с обезображенной половиной лица.

Про Фомина я Олегу не рассказывал, поведал другое. В 1929 году во время краткосрочного конфликта Китая с Советским Союзом (имел место такой) чекисты активизировались в Трёхречье и провели сразу несколько акций уничтожения казаков. Одна из них произошла в конце сентября 1929-го. Отряд красноармейцев переправился через Аргунь и двинулся в направлении деревни Тыныхэ, она стояла на речке с таким же названием. Это, собственно, уже не Трёхречье, ближе к Хайлару. Места малолюдные, деревень почти

нет в округе. В Тыныхэ согнали всё мужское население, даже подростков старше двенадцати лет, вывели за деревню в распадок.

Основали Тыныхэ казаки, братья Николай Иванович и Семён Иванович Госьковы. В 1919 году они, уходя от Гражданской войны, от беспредела атаманщины (семёновцы, а они непрерывно хозяйничали в Забайкалье с апреля 1918 года по октябрь 1920-го, – отбирали хлеб, скот, пороли крестьян, насильственно мобилизовали их в свои ряды, особенно зверствовали каратели) покинули Забайкалье и облюбовали место на речушке Тыныхэ. Начали строиться, к ним подтянулись другие казаки, бежавшие через Аргунь от белых и красных, от братоубийственной войны. Через десять лет, в 1929-м, в Тыныхэ было около восьмидесяти дворов. Хорошая деревня.

Аполлинария Ивановна Госькова, сестра основателей Тыныхэ, в тридцатые годы была замужем за моим дядей Иннокентием Фёдоровичем, лет пять жили они вместе в Драгоценке. При случае, расскажу подробнее, а в 1929 году она была замужем за Павлом Артемьевичем Баженовым. Тоже забайкальский казак, воевал в Первую мировую войну, насколько помню – на Кавказе. Жили крепко, одних дойных коров десятка три, лошадей запряжных не менее десяти, телята, быки, овец не одна сотня. Двое детей – Алёшке одиннадцать лет, Варваре десять. На Воздвижение Креста Господня, двадцать седьмого сентября, рано утром Аполлина-

рия Ивановна поднялась коров доить. Идёт к ним через двор, глядь, по улице шагает свояк, младший брат мужа, тоже Павел Артемьевич. Уздечка в руках. В некоторых семьях забайкальских казаков двух сыновей называли одним и тем же именем. Не один раз встречал подобное. Для различия одного называли, к примеру, Большой Павел (как в нашем случае), другого – Малый Павел.

Аполлинурия Ивановна спрашивает свояка:

– Куда, Малый, путь держишь спозаранку?

– За лошадьми. Спутал их за горой, а нужно в лес съездить.

Поговорили, Малый ушёл, Аполлинурия Ивановна начала коров доить и вдруг выстрелы. Да близко. Не где-то за деревней, совсем рядом.

В Тыныхэ вошли каратели. Стрельбу затеяли, дабы ошеломить жителей, давить на психику казаков. Опасались получить достойный отпор. Было у казаков оружие, мне рассказывал об этом двоюродный брат Виталий Иванович Патрин, в Австралии сейчас живёт, два раза гостил у меня в Омске. Его мать, Варвара, была замужем за моим родным дядей по маме – Иваном Петровичем Патриным. Виталий рассказывал, это он знал от бабушки, Аполлинурии Ивановны, что в Тыныхэ был тайник под сенником – целый арсенал оружия: станковый пулемёт, винтовки, карабины, гранаты. Окажись всё это в руках казаков Тыныхэ в то утро... Оружие прятали от китайских властей, запрещено было держать казакам

при себе. Если б знать тогда... Не готовы были к такому повороту событий, не ожидали, что Советский Союз пришлёт карателей по их головы. Думали, отгремели братоубийственные бои, ушли в прошлое страсти Гражданской войны. Однако нет. Пламенный преобразователь России Лейба Давидович Троцкий-Бронштейн в том самом 1929 году был изгнан из страны, но призыв бывшего председателя реввоенсовета уничтожать казачество до самых корней не утратил своей актуальности. Ненавидела советская власть это сословие, люто ненавидело.

Стреляли каратели поначалу в воздух, грозно заявляя о себе...

Ускакать из деревни успели три казака и один тунгус. Убежали Инокентий Екимов, Андрей Бронников и ещё один казак. Стреляли по ним каратели, да повезло беглецам.

Командовал карательным отрядом Мойша Жуч. Человек тёмный. В Гражданскую служил у генерал-лейтенанта барона Унгерна. Барон крайне негативно относился к евреям, Жуч сумел чем-то покорить Унгерна. Карательные функции он выполнял и у бешеного барона. Был штабс-капитаном и начальником контрразведки. С карательным отрядом, набранным из бурят и монголов, уничтожал красных казаков. Жучу было всё равно красных или белых казаков рубить... Вытворял он со своим отрядом и такое: переодевались белые каратели в красных и нападали на деревни, дескать, вот что коммунисты делают – записывайтесь в Белую армию.

В 1921 году он переметнулся к красным. Есть версия, подтверждённая воспоминаниями свидетелей, что не командиру партизанского отряда Щетинкину монголы передали барона Унгерна (так сказать, в благодарность, что освободил их от китайцев), а Жуч ночью привёл конный отряд чекистов на китайскую станцию Чжалойнор, это в восьми верстах от границы, показал дом, в котором спал барон. Тот был схвачен и переправлен в Забайкалье, где был расстрелян. Поистине Жуч был сатанинской личностью. Не удивлюсь, если он служил сразу нескольким хозяевам. Жадный, жестокий, двуликий и хитрый. В двадцатые годы под видом белого офицера появлялся в Харбине, подолгу жил в Хайларе, его там многие хорошо знали, не представляя, что это за человек.

Кровавый поход в Трёхречье осенью 1929 года был тщательно рассчитан. Перед отрядом стояла задача углубиться от границы на чужую территорию более чем на сто пятьдесят километров. Причём так, чтобы китайские власти не узнали раньше времени о разбойном нападении. Местность в это время была относительно пустынна. Откочевали на юг баргуты, которые каждое лето пасли в Трёхречье свои стада. Поэтому не могли помешать отряду и оповестить власти о чужаках. Тех редких трёхреченцев, кто встречался по дороге, каратели уничтожали. Убили несколько казаков. Убили монгольского ламу, знакомого Жуча по службе у Унгерера. Тот обрадовался встрече с однополчанином, однако «однополчанин» поспешил застрелить знакомя, дабы не набол-

тал лишнего, жену ламы, русскую женщину, каратели изнасиловали и зарубили шашкой. В отряд Жуч подбирал отъявленных истязателей и палачей, тех, кто давно был «подсажен», как на наркотики, на зверства, кто упивался чужими муками. Но были и не запятнанные карательными акциями. С отрядом шли забайкальские казаки-красноармейцы. Причём, родственники некоторых из них жили в Трёхречье. Красноармейцев нужно было инициировать в каратели, повязать кровью. Бандиты на одном из переходов захватили группу из девяти человек, среди них было пятеро детей, священник, муж с женой, возчик. Все были убиты, положены на подводу с маслом, которое местный житель вёз в Хайлар на продажу. Под подводой развели огонь, и несколько часов трупы горели в масле.

Женщину узнали по сохранившейся груди, священника по половине лица. У детей сгорело всё, их положили в один гроб. На девятиерых понадобилось всего три гроба.

Мойша Жуч носился по Тыныхе на лошади с гранатой в руке, размахивал ею и кричал: «Выходите, не то гранату брошу!» Даже в Тыныхэ Жуч встретил знакомых по Хайлару, с ним столкнулась Клавдия Сергеевна Таскина, по мужу – Госькова. Была она дочерью Сергея Афанасьевича Таскина, выходца из казачьего сословия, депутата Государственной Думы II и IV созывов от Забайкалья. При белых в 1918 году был назначен управляющим Забайкальской областью. В январе 1920 года атаман Григорий Михайлович Семёнов

создал в Чите Правительство Российской Восточной окраины, которое возглавил Таскин. Осенью 1920-го с семёновцами ушёл в Маньчжурию, жил в Харбине, потом недалеко от Тыныхэ, на станции Якэши. Его дочь Клавдия вышла замуж за троюродного брата Аполлинаруии Ивановны – Ивана Матвеевича Госькова.

Бандиты выгоняли жителей из домов и собирали в центре посёлка.

В заместителях у Жуча в той операции был Клавдий Топорков. В Тыныхэ жила его сестра. Он прискакал к ней, сказал, чтобы спасала себя и детей. Сестра стала молить Клавдия не трогать мужа. Клавдий зло повторил, чтобы спасала себя, зятя спасти не сможет, иначе самого прикончат, бросил отрез материала (из награбленного) и ускакал.

И всё же что-то выиграло в Топоркове, что-то оставалось человеческое, подлетел к Жучу, осадил коня, потребовал:

– Оставим женщин и детей!

Жуч сверкнул глазами, заорал:

– Приказ – от мала до велика!

Каратели согнали жителей посёлка к срубам строящегося маслодельного завода. Это был третий маслодельный в Тыныхэ, два уже работали, молока в селе надаивали много, били масло и отправляли его в ближайшие города, что стояли по линии КВЖД, в тот же Хайлар, и даже в Харбин. Трёхреченское масло считалось лучшим в Китае.

Казачи, оставшиеся в живых, рассказали о том споре ко-

мандира и его заместителя. Живыми остались Подкорытов, дед Волгин, сын Аполлинаруи Ивановны Алёша, а Иван Матвеевич Госьков умер в больнице и ещё один казак... Топорков повторил:

– Я сказал: оставим женщин и детей!

Жуч не соглашался.

Топорков с перекошенным лицом схватился за гранату, что висела на поясе:

– А я говорю тебе – оставим!

– Ты пожалеешь об этом! – сузил глаза Жуч. – Ой, пожалеешь!

В конце тридцатых Топоркова расстреляли как врага народа.

Каратели отгеснили женщин от казаков и подростков и повели колонной за деревню. Якобы на сход.

Первым из жителей Тыныхэ от рук бандитов погиб Павел Малый, свояк Аполлинаруи Ивановны. Он столкнулся с карателями, когда пошёл за конём. Пулю на него не стали тратить, дабы не встревожить раньше времени деревню выстрелами, а задушили. Иезуитским способом, используя его же уздечку. Из повода сделали петлю и накинули на шею, вторым концом связали руки и ноги со спины и подтянули к голове – получилось, будто тетиву лука натянули. И бросили – души себя, казак сам... Несчастный всячески старался ослабить натяжение петли, вертелся на животе, боку... Ногтей не осталось – выломал. Траву в круге диаметром метра четыре

выбил до земли...

Согнали казаков к срубам маслодельного завода (созывали якобы на сход) и повели за околицу.

Аполлинария Ивановна стояла у ворот, колонна (было в ней около восьмидесяти человек, включая нескольких детей) проходила мимо, муж, Павел Иванович (Большой) попросил у неё рукавицы, утро выдалось холодным. Она метнулась во двор, голыши из овчины (мехом вовнутрь) лежали в сенях на ларе, схватила их, догнала колонну и, не обращая внимания на окрик карателя, сунула мужу. Пошла рядом с ним, её тут же грубо отогнал всадник с винтовкой:

– Уйди, баба!

Сына не увидела. Считала, не может быть с мужиками, это потом уже хватилась...

Позади всех шли раненый Семён Иванович Госьков (пытался бежать, услышав стрельбу, вскочил на коня, но его заметили и подстрелили) и дед Мунгалов на костылях, ногу потерял на Первой мировой. Они начали отставать. Семён Иванович обессилел от потери крови, ему стало дурно, дед Мунгалов попытался подставить своё плечо, дескать, держись за меня, как-нибудь на трёх ногах доковыляем. Оба упали, с трудом поднялись. Колонна уходила всё дальше и дальше за деревню, дорога заворачивала за гору. Жуч зло приказал одному из карателей прикончить отставших. Тот повернул коня, подскочил к немощным казакам, раз да другой сверкнул острый клинок...

Казаки поняли, хорошего ждать нечего. Во главе колонны шёл полковник Аникин, позади – георгиевский кавалер Алексей Николаевич Госьков, двоюродный брат Аполлинару И Ивановны. Казаки начали перешёптываться, дескать, на сходку не похоже... Каратели шумнули – «не разговаривать», тем не менее Аникиев передал: он скомандует впереди идущим, а Госьков – тем, кто сзади... Сопровождало колонну человек тридцать карателей, на лошадях, с винтовками. Накинсь казаки, навались разом, сдёрнули бы с сёдел... В середине колонны шёл старик Волгин, тот по-стариковски заосторожничал, мол, нас ведь на сходку звали. Его слова внесли сомнения среди казаков. Они прекрасно понимали, с голыми руками кидаться на вооружённых, значит, наверняка многие погибнут, даже если получится одолеть карателей. А уж если те возьмут верх... Замешательство обернулось потерей короткого момента для атаки... За деревней, за поворотом дороги начиналась Крестная падь, в самом её начале, в верхней части, ждала группа карателей с пулемётами.

Казакам было приказано сесть. Кто-то из казаков крикнул:

– Детей-то отпустите, не убивайте!

На что Жуч крикнул:

– Огонь!

Заговорили пулемёты. Из винтовок стреляли по тем, кто пытался вскочить на ноги. В какие-то минуты всё было кончено. Жуч отдал приказ добивать раненых, несколько раз по-

вторив:

– Никто не должен остаться в живых!

Раненых было много. Казаки сидели в несколько рядов. Жуч не решился расстреливать партиями. Так было бы наверняка, но он торопился. Добивали раненых штыками, прикладами, тунгус Николай Валиев орудовал ножом – одним движением перерезал горло, переходя от одного раненого к другому. Делал это сноровисто, по-деловому, будто баранов резал.

Каратели не забывали мародёрничать – снимали обручальные кольца, перстни...

Хорунжий Димитрий Подкорытов накануне приехал в Тыныхэ из Хайлара к родственникам. И попал на расстрел. Не в первый раз в жизни в упор смотрел смерти в лицо. Красные партизаны его уже расстреливали в Гражданскую войну. Тогда упал перед пулей и прикинулся мёртвым. Помогло и то обстоятельство, расстреливали группу казаков под вечер, в сумерках. Ночью выбрался из-под тел убитых и ушёл. В Тыныхэ был ранен, сдерживая боль, сделал вид, что убит. Мойшу Жуча Подкорытов прекрасно знал по Хайлару, как и тот его. Жуч крутился в кругу военной молодёжи, с ним охотно шли на контакт, как же – белый офицер овеян славой боёв против красных партизан, штабс-капитан контрразведки самого генерал-лейтенанта барона Унгерна. Героическая личность для молодёжи, настроенной на борьбу за свободу России. Жуч одно время жил в приграничном городе Мань-

чжурия, затем в Харбине, несколько лет в Хайларе. Конечно же, он имел полную информацию о посёлках Трёхречья, о настроении русских в Маньчжурии.

Переступая через убитых, Жуч увидел золотой перстень на руке Подкорытова, наклонился, начал сдёргивать добычу, и распознал опытным взглядом – знакомый казак прикидывается мёртвым. Жуч никак не хотел засветиться в этой операции, в Маньчжурии ему жилось припеваючи. Разведка разведкой, он ещё и обогащаться успевал, имел свой гешефт, был у него в помощниках некто Вольфович. «Бизнес-партнёры», в частности, имели интерес к золоту и драгоценностям. Не исключаю, да почти уверен, Жуч со временем планировал удрать от своих новых хозяев куда-нибудь в Америку. Пока же служил советской власти.

Поэтому убирал в той вылазке всех свидетелей, и тех, кого знал по Маньчжурии и тех, с кем воевал у Унгерна.

Жуч гадко ослабился, узнав Подкорытова:

– Ты ещё живой, сукин сын!

Грязно выругался и выстрелил казаку в голову из нагана:

– Получи, собака!

Однако кипящая злоба сбила прицел, рука дрогнула, пуля, пройдя от правого уха под углом, мозг не задела и вышла через левую щеку. Выжил казак.

Алёша Баженов, ему шёл двенадцатый год, испугался, услышав команду «огонь!», вскочил, бросился бежать, пуля угодила в шею... Упал... Придя в сознание, услышал:

– Пройтись нагавами, прикладами по головам, штыками по животам, всех добейте!

Алёша лежал чуть поодаль от остальных в луже крови. Это и спасло... Хотя, один Бог знает, что лучше... Каратели посмотрели на мальчишку, залитого кровью, один другому бросил:

– Этот готов.

Зачем, дескать, мараться с ним.

Жуч заметил ещё одного знакомого, Ивана Матвеевича Госькова. Тот учительствовал в Хайларе. Жуч тоже (чем он только не занимался) некоторое время преподавал в хайларской школе. В Тыныхе Иван Госьков приехал в гости к родителям на праздник Воздвижения Креста Господня.

Ивану пуля угодила в ногу. Даже кость не задела. Жуч выхватил у карателя винтовку, шагнул к Госькову, вонзил штык в живот и с остервенением провернул. И этот свидетель был крайне опасен. Однако и его не убьёт Жуч. Но если Подкорытов проживёт долгую жизнь, умрет в Швейцарии в доме престарелых, Иван Матвеевич скончается на операционном столе в Хайларе.

Женщины долго не решались идти в Крестную падь, хотя выстрелы отгремели несколько часов назад, рано утром увидели окровавленного человека, спускающегося в деревню с горы. Он являл собой жуткую картину: волосы, лицо, одежда, руки – всё было в крови. Казалось, как можно остаться живым, потеряв столько крови. Не сразу в нём узнали стари-

ка Волгина. Дед сказал, подбежавшим к нему женщинам:

– Там ещё есть живые.

Он был единственным из всех, кого не задела ни одна пуля, а кровью был залит чужой. Несколько часов Волгин пролежал под трупами односельчан, боясь – каратели вернуться и убьют.

Женщины на месте расстрела в живых застали четверых. Истекал кровью Алёша Баженов. Хорунжий Подкорытов лежал с развороченным пулей лицом. В Афанасии Томышеве каратели тоже не распознали раненого, пуля угодила в плечо. Иван Матвеевич Госьков то приходил в сознание, то терял его... Рана от удара штыком была жуткой. Мать повезла его в Хайлар. Сын, приходя в себя, повторял всю дорогу:

– Мама, запомни, командовал бандитами Моська Жуч!
Запомни!

Отряд чекистов не мог чувствовать себя в полной безопасности на чужой территории. Поэтому бандиты торопились. Мой двоюродный брат Виталий Патрин говорил со слов своей бабушки Аполлинаруи Ивановны, что в Тыныхе шёл отряд самообороны казаков. Он уступал карателям в численности и вооружении, но в планы бандитов не входило вступать с ними в бой. Отряд самообороны будто бы и спугнул карателей, потому те ускакали и не расправились с женщинами Тыныхэ, которые ушли за село к озеру.

Картину в Крестной пади женщины застали страшную. Тела мужей, братьев, отцов, детей, лежали в лужах крови.

У Аполлинаруии Ивановны погибли двенадцать близких родственников – муж, братья родные и двоюродные, тяжело ранен сын Алёша... Было решено хоронить всех не на кладбище, а тут же в братской могиле. Заворачивать в простыни и хоронить. Женщины обмывали, обряжали, копали могилу вместе с подростками...

Первое время на могиле стоял деревянный крест, позже был водружён памятник – металлический крест на высоком каменном постаменте с плитами, на которых были имена погибших. В 1963 году, когда Аполлинария Ивановна с взрослыми внуками и дочерью уезжала в Австралию, памятник стоял. Двоюродные мои братья Виталий и Владимир Патрины в 1992 году приезжали в Россию и Китай из Австралии. Посетили Драгоценку, Тыныхэ. Не было уже ни креста, ни плит, ни даже тополей, что росли подле памятника. Китайцы всё уничтожили.

Каратели после расправы в Тыныхэ отправились в Чанкыр, там тоже расстреливали, зверствовали. После этого отряд ушёл в Советский Союз, но Мойша Жуч почему-то остался в Маньчжурии. Или ушёл, а потом вернулся. Вдруг объявился в Харбине. Или чего-то боялся, или, выполнив одно задание по уничтожению казаков, получил другое. Это мне рассказывал двоюродный брат Виталий Патрин. Жуча выдали китайским властям, его арестовали. Клавдия Сергеевна Таскина, в замужестве Госькова, оказалась главным свидетелем участия Жуча в карательных операциях. Род-

ственники отговаривали её, просили не связывалась с этим оборотнем, убеждали, что человек он страшный, значит, и покровители у него сильные. Мужа не вернёшь, надо думать о детях.

Но Таскина стояла на своём. Не могла смириться с гибелью мужа, жаждала наказания тем, кто зверствовал Тыныхэ.

На Таскину стали оказывать мощное воздействие. Мол, вы путаете, другой человек орудовал в Тыныхэ. Всячески пытались сбить её с толку. Устраивали несколько раз опознания, вплоть до того, что Жуча переодевали в монаха, брили ему голову, но Клавдия Сергеевна узнавала карателя во всех видах.

Трагедия Тыныхэ попала в мировую прессу. Писали газеты США, Европы, проводились демонстрации, сборы средств для поддержки жителей Тыныхэ. Была послана нота в Лигу Наций. Осенью двадцать девятого года каратели совершили несколько налётов, пострадали посёлки Аргунский, Комары, Усть-Уровск... Если в Тыныхэ расстреляли только мужское население, в других местах были случаи убивали целыми семьями, от грудных детей до стариков. Более трёхсот человек уничтожили в Трёхречье в ту страшную осень... В Верх-Кулях убили священника и его сыновей, над священником долго издевались – привязали за волосы к лошади, и волокли по земле... Глава Русской Зарубежной Церкви митрополит Антоний (Храповицкий) направил письмо главам правительств, Церквей и в адрес ведущих

газет мира, в котором говорил о жутком красном терроре в Трёхречье.

Этот шум не позволял просто так замять дело Жуча, выкупить его у китайских властей И тогда покровители Жуча нашли молодого еврея, который подъехал с сердечными чувствами к Клавдии Сергеевне. Снабдили его деньгами, дабы выглядел богатым, ничего не жалеющим для возлюбленной. Он сумел вскружить голову бедной женщине. Доверчивая, порядочная она не смогла распознать обман. Поверила подлой душонке, согласилась на замужество. Богатый «муж», готовый на всё для любимой жены, предложил медовый месяц провести в Японии. Отправились из Шанхая на океанском лайнере. Однако в первом японском порту «муж» как сквозь землю провалился, прихватив все деньги и паспорта.

Что стало с Таскиной – никто не знает. Не исключаю, её просто-напросто уничтожили. Виталий Патрин рассказывал, что Аполлинурия Ивановна по приезду в Австралию настояла пойти внуков в японское посольство и сделать запрос на поиски Клавдии Сергеевны, приложили фото пропавшей.

Заявление приняли, но сколько ни обращались потом в посольство – никаких результатов не было, даже фото в конечном итоге не вернули.

Чем кончил Жуч – не знаю. Будто бы он какое-то время сидел в китайской тюрьме. Потом я встречал информацию, Моисея Жуча арестовали во время чисток 1937 года и расстреляли в 1938-м. Тот ли это чекист или нет – неизвестно.

Алёша Баженов не вынес потрясения – расстрела отца, дядьёв со стороны отца и матери – сошёл с ума. Я его видел, когда было Алёше под тридцать. Жутковатая картина. В Драгоценке при японцах построили мельницу. Алексей часто ходил вокруг неё... Что-то бормочет, разговаривает-разговаривает сам с собой. Высокий, нескладный, голова к плечу наклонена, глаза в землю уткнёт, будто что-то ищет. Мы, дети, боялись его. Обязательно холщовая сумка через плечо... Принимался панически кричать, если на него направляли палку. Боялся – начнут стрелять... Года через три после войны Алёшу увезли в Харбин, там умер в психиатрической лечебнице.

Я рассказал Олегу о расстреле в Тыныхэ, Алёше Баженове, Топоркове, Жуче. Многих деталей на тот момент не знал, прочитал позже, когда появились публикации в прессе. В 1992 году встретился с Виталием Патриным, он тогда в первый раз приезжал в Россию из Австралии. Да мне и без его рассказа хватало информации, получил её от родителей, старших братьев, жителей Тыныхэ, Трёхречья. Если уж весь мир знал, тем более – трёхреченцы. Олег мне не поверил.

– Быть не может! – горячо возражал. – Чистой воды провокация. Известный приём, чтобы опорочить кого-то, надо под его марку сделать гнусность. Явно – это дело рук белогвардейцев! Сработали под наших! Ты ведь читал, что делали каратели Колчака в Омской области, в Тюменской. У мамы есть знакомая, её дядя был царским офицером, но воевал

на стороне красных, попал в плен, так ему погоны прибили гвоздями к плечам! Взяли погоны царской армии и прибили. Дескать, ты должен такие носить. А у вас в Забайкалье каратели атамана Семёнова сколько крови пролили подобными устрашающими акциями?

Каратели Семёнова отличались беспощадностью, тут ни убавить, ни прибавить. Пример, тому Жуч. Кровь проливали каратели и казачью (тех, кто к красным перешёл) и мужичью... Откровенно зверствовали... Специально инородцев набирали – бурят, монголов, – да и наших хватало...

Я, конечно, не мог доказать Олегу правоту своих слов документальными свидетельствами. На тот период ими не располагал. Но одно такое появилось лет на десять позже у земляка Василия Чипизубова. Железобетонное доказательство. И даже не газетная заметка. Из советских органов (да ещё каких!) бумага. Чипизубов был человеком смелым, отсидел десять лет в лагерях. Трёхреченец. Не побоялся в самые махровые застойные семидесятые годы пойти в КГБ. Написал, что лично знал свидетелей карательной операции. А в 1935 году побывал на месте расстрела в Крестной пади, где односельчане в память об убиенных поставили поклонный крест. Указал точную дату карательной операции – 27 сентября 1929 года. И просил подтвердить факт разбойного нападения красноармейского отряда на русское поселение в Маньчжурии.

Что самое удивительно, КГБ не отписалось, не отмахну-

лось, был дан краткий, но убедительный письменный ответ: данный факт имел место.

Сам я не нуждался в свидетельствах. Я знал мать Алёши Баженова – Аполлинаруию Ивановну. Она второй раз вышла замуж за моего дядю Иннокентия Фёдоровича, дядю Кешу. У него при родах в 1930 году умерла первая жена, та самая красавица полячка, привезённая в Кузнецово забайкальским казаком с немецкого фронта в качестве трофея. Дядя сошёлся с Аполлинаруией году в тридцать первом. Перевёз их с сыном Алёшей и дочерью Варварой в Драгоценку. К Аполлинаруии Ивановне из Хайлара приехала родная сестра Анастасия Госькова. И так получилось – Кокушины и с ней породнились. На Анастасии Ивановне женили моего другого дядю – Семёна Фёдоровича. Тут мой отец с дядей Федей постарались. Сосватали Анастасию, чтобы вернуть дядю Сению к жизни, отвлечь от трагедии, происшедшей с женой, что зарезалась в Кузнецово, не выдержав издевательств чекистов. У дяди Сени с Анастасией родилось двое детей – Анна и Георгий, и живут они не где-нибудь, а в Омске. Анастасия с ними приехала, похоронена в Омске.

Госьковы из ясашных, так у нас называли метисов. У меня есть фотография с похорон двоюродного моего брата Михаила Фёдоровича. Ранняя весна тридцать шестого года, у гроба в ограде человек тридцать родни. Аполлинаруия Ивановна на переднем плане. И явно читается на лице наличие бурятской или тунгусской крови.

Дядя Кеша с Аполлинаруией Ивановной и пяти лет не прожили одним хозяйством, что-то не срослось. В год, когда умер Михаил, они уже разошлись. Дядя Кешу домовитым не назовёшь, его тянуло в мужские компании, подолгу жил на заимке. Занимался только скотоводством, к хлебопашеству душа не лежала. Ничего не сеял. Любил жить сам по себе. Видимо, это Аполлинаруии Ивановне не нравилось. Набожной была, а дядя Кеша, как я уже говорил, в Бога не верил...

И это ещё не всё в наших родственных связях с Аполлинаруией Ивановной. Её дочь Варвара, как уже говорил, вышла замуж за моего дядю по маминой линии Ивана Петровича Патрина.

Варвара живёт в Австралии. Аполлинаруия Ивановна, когда в пятьдесят четвёртом началась эпопея отъезда русских из Маньчжурии, слышать не хотела о возвращении в Россию. Как и мой брат Митя, который готов был податься хоть куда, только не в Союз. Варваре в декабре 2009-го девяносто лет исполнилось. Я позвонил ей, поздравил. Живёт с дочерью Полиной, два сына рядом, мои двоюродные братья – Виталий и Владимир, которых уже упоминал. Муж, Иван Петрович Патрин, в сорок пятом был арестован сразу, как СМЕРШ появился в Драгоценке, проходил по особым спискам, как сотрудничавший с японцами. Он был мобилизован ими, прошёл военную подготовку в отряде Асано. В Союзе отсидел десять лет. Кстати, ещё одна сестра Аполлинаруии Ивановны – Дарья – вышла замуж за японца, в сорок пятом

с ним вместе бежала и умерла в Японии. Раскидала судьба...

Недавно узнал ещё один нюанс о Тыныхэ, касаемый моей родни. Тайну открыл перед смертью в 2002 году муж моей родной старшей сестры Тони – Пётр Павлович Банщиков. В карательной акции участвовал муж его тёти. Рядовой красноармеец после расстрела безоружных в Тыныхэ и Чанкыре дал дёру. Понял, больше не сможет выполнять такие приказы. Во время ночного марша, когда отряд спешно уходил к границе, выждал удобный момент и отстал. Места знал, свернул на дорогу, что вела к пустующей заимке. До следующей ночи там отсиживался, а потом по темноте тайком пришёл в деревню Верх-Кули к родственникам... Честно рассказал, как оказался в Трёхречье. Дезертировав из отряда, попал между жерновами. В Союз обратной дороги нет, и в Трёхречье, узнай казаки, что он из карателей... И те и другие не помилуют, попадись им в руки, и обе стороны будут по-своему правы. На семейном совете родственники решили: надо менять фамилию. Двадцать девятый год, легализоваться в Китае было нетрудно. Он взял фамилию Тимофеев. А был Опрокиднёв. Зигзаг судьбы: в один день опрокинулась вся жизнь. Тимофеев уехал подальше от Тыныхэ в Барджакон. Там женился... Умер Тимофеев-Опрокиднёв году в сорок четвёртом, естественной смертью. Знали о его тайне единицы.

Сомневаться не стоит: чекисты искали предателя Опрокиднёва, их агентов хватало в Трёхречье. В каждой из девят-

надцати деревень имелись завербованные казаки. Приходящие разведчики тоже открыто крутились. А что не работать в идеальных условиях. Язык изучать не надо. Обьезжает вроде как обычный мужик деревни, продаёт дары природы (в округе полно голубицы, брусники, смородины, груздей, рыжиков, подосиновиков с подберёзовиками) и на ус мотает, что и как. Покуривая, светские новости узнаёт. Это потом, через много лет, выяснилось, что за грибки-ягодники ездили по деревням. Кое-кто из них в сорок пятом в красноармейской форме появился в Трёхречье. Тимофеева Бог миловал, не попал в сети СМЕРШ. Родственники не проговорились, сберегли раскаявшегося карателя, а чекистам не подфартило вычислить. Узнай в тридцатых годах, что за птица скрывается под Тимофеевым, акт возмездия провели бы непременно. И не просто убили на месте. Выманили бы или выкрали.

Сын Тимофеева уехал в Австралию. И прожил там до глубокой старости. Думаю, мать поведала ему историю отца, почему сын и выбрал самую дальнюю точку от Советского Союза, отбывая «на целину». Из Трёхречья мало кто за океан отправился. Для деревенских жителей – из них не все паровоз видели, хотя КВЖД была рядом – Австралия представлялась краем света. Ехать через весь Китай на поезде, плыть на пароходе...

Отец Петра Банщикова – наш сват Пал Дмитрич Банщиков – не захотел уезжать из Китая. Ни в Австралию с сестрой (жену он схоронил к тому времени), ни с сыном в Союз. Бо-

ялся, вдруг чекисты вычислят, что он покрывал преступника-перебежчика Опрокиднёва, не доложил китайским властям, кто есть муж его сестры. Поэтому Пал Дмитрич посчитал для себя лучшим вариантом остаться в Китае. В Культурную революцию его хунвейбины взяли в оборот за русское происхождение. Русские всем как кость в горле. Схватили – и к стенке. Точнее, к дереву. Сейчас, дескать, малмала убивать будем. К счастью, дело кончилось инсценировкой. Над головой пули прошли. Как только сердце выдержало, ведь за шестьдесят ему было? Кое-как удалось после этого Пал Дмитричу вырваться в Союз. Жил в Кустанае, раза два приезжал к отцу в гости в Троебратное. Но так никому, в том числе и сыну, не сказал о Тимофееве-Опрокиднёве. Настолько всё скрывалось. Зять наш Пётр Банщиков в 1995 году отважился слетать в Австралию, тётю попроведовать, племянника. Там-то и узнал семейную тайну. Мне тоже не сразу открыл её, лишь через семь лет, перед самой своей смертью. Мы с ним вдвоём остались в комнате, не вставал уже.

– Павлик, – шёпотом мне говорит, – ты вот всё интересуешься, как мы жили, я тебе вот что хочу поведать...

И открыл семейную тайну...

Я Олегу Морозову рассказал о карательной операции. Водка язык развязала, промолчать бы даже из соображения – на день рожденья пригласили, а я затеял с комсомольским секретарём антисоветскую беседу. Олег кричит:

– Враньё! Чистой воды белогвардейская провокация!

Кстати, вскоре после нашей стычки с Олегом познакомил меня с земляком по Драгоценке Анатолием Фёдоровичем Федченко. Он был на двадцать лет старше меня, а в сорок четвёртом году возил на машине (был шофёром) Алёшу Баженова в Хайлар в психиатрическую лечебницу.

– Сильный был, – рассказывал, – два здоровых мужика еле сдерживали, если вдруг буйствовать начинал. И страшно боялся воды...

Подрались мы с Олегом не подрались. Я выскочил из-за стола, дверью хлопнул, по лестнице башмаками прогремел, чуть не до городка Нефтяников пешком прошёл, не мог успокоиться, в голове крутился спор, я продолжал что-то доказывать Олегу, внутри всё кипело: как можно жить таким слепцом?!

Одним словом, испортил Олегу праздник. На следующий день проснулся в прескверном настроении. И не от выпитого накануне. Первое, что ударило в голову: «Дурак, что я наделал?» «Всё, – думал, – хана учёбе». Как специально подстроено: пригласил, спровоцировал на разговор, а я, деревня-простофиля, раскрылся. Будто птенец желторотый. В армии замполит учебки, капитан Большаков, спрашивает:

– Кокушин, почему ты не комсомолец? Надо вступить!

Там не скажешь: «По идеологическим соображениям».

В школе я поначалу хотел в комсомол. Но был случай в 1955 году на уроке истории. Учителем, это в деревне Кривояш, был Останин... Сидели мы за одной партой с Мишей

Мальцевым. И вот Останин что-то бубнит... Вместо правой ноги у него был протез. Я поначалу думал: фронтовик, воевал, получил ранение в бою. Для меня, пацана, все фронтовики – особый народ. Как же – смерти в лицо смотрели, фашистов били. Потом выяснилось: Останин по пьянке обморозился... Миша Мальцев вытащил комсомольский билет из кармана, подаёт мне: смотри. Он знал, что мы из Китая. Собственно, мы даже одеждой отличались. Ходили казачата в гимнастёрках. Блестящие пуговицы, два больших накладных нагрудных кармана, воротник стойка, подпоясывалась гимнастёрка или ремнём, или боевиком – узеньким кожаным ремешком. Он завязывался на узел, а на конце пластинка металлическая. Боевик – особая статья для молодых и форсистых казаков. Бляшечка какая-нибудь особенная... На ногах носили ичиги – сапожки из мягкой кожи, без каблуков, под коленом завязывались. На зиму у меня были унты из лося, прочнейшие и мягкие. Подошва из толстой кожи, без каблуков. Тёплые, конечно. Первый раз в унтах в школу пришёл, на меня смотрели, как на марсианина... Я комсомольский билет разглядываю, Останин увидел и на весь класс ругательным тоном:

– Комсомолец Мальцев, на каком основании вы даёте комсомольский билет сыну белоэмигранта?

На всю жизнь сделал антибольшевистскую прививку. Никогда не забуду его слова. Как было больно и обидно! За себя, отца. Какой он белоэмигрант? И почему меня надо сто-

рониться?

И я зарёкся с комсомолом. Но на слова замполита капитана Большакова про себя думаю: а ведь тоже проходной билет в институт. В армии я твёрдо решил, демобилизовавшись, идти в вуз. Пишу заявление, отдаю Большакову. На комсомольском собрании взвода просят рассказать биографию. Я предварительно продумал ответ. Место рождения не Китай назвал, а КНР пулемётной скороговоркой выдал. С деревней и районом значительно проще, по-русски звучат: Трёхреченский район, посёлок Драгоценка. Драгоценка – это не Тыныхэ или Якэши. Сказал уверенно. Что выехали в Союз опустил, сразу перешёл на год окончания школы... И вот призван в армию, стою перед вами готовый вступить в авангард советской молодёжи. Невыгодные моменты замаял для ясности, и никто ничего не понял.

Всегда был настороже, а с Олегом прорвало. Столько сил вложил в меня отец, так мечтал, пусть хоть один из детей получит высшее образование. Отправляя меня в армию, а потом в институт, наказывал:

– Павлик, только держи язык! Мало ли что! Не лезь на рожон!

Дома у нас понимали: власть в любой момент может круто обойтись. Как жалею, уничтожили все фотографии, где родственники сняты в казачьей форме. Ни одной не осталось. Было фото, даже два, Ганя на казачьих сборах. На одной держит Урёшку под уздцы. Вторая групповая: brave парни в

гимнастёрках, в папахах, с шашками. С добрый десяток хранилось в семейном альбоме. На одной дядя Семён в казачьей форме на коне...

Мама в один день приняла решение: нельзя держать такой криминал. И сожгла фото из Драгоценки...

С мыслью о том, что скоро вызовут в комитет комсомола института, или к декану, а то и к ректору, я жил несколько недель. Олега увидел дней через пять. На автобусной остановке стою, он подходит, руку подал как ни в чём ни бывало, перебросились несколькими фразами, подошёл автобус Олега, он уехал. Но и после этого я не был уверен, что пронесло.

Олег оказался порядочным, не стукнул. Он после защиты диплома остался в институте, работал освобождённым секретарём комитета комсомола, защитил диссертацию. Никогда мы с того раза больше с ним не откровенничали, не оказывались рядом в компаниях, и он ничем не намекнул о споре на дне рождения, будто и не было его...

А у брата Мити, того, что в вытрезвителе всю ночь кудряво материл Ленина, с началом перестройки появилась поговорка в ответ на сладкие посулы о новых временах: «Какой чёрт перестройка! Вы сначала пропастину из Кремля, из мавзолея, вынесите, а потом уж начинайте перестройку».

В корень простой человек смотрел.

Коллективизация по-китайски

В 1949 году, 1 октября, к власти в Китае пришёл Мао Цзэдун. Китайцы засучили рукава на социализм. Эскизы социальных преобразований Советский Союз предоставил, срисовывайте, братья-китайцы, и вперед. На селе началась коллективизация. В Трёхречье первым делом она коснулась коренного населения. В Драгоценке прошлись карающим мечом по Китайской улочке. Скотоводством и земледелием китайцы не занимались, зато были торговцы, сапожники, портные, фотографы и огородники. Первые огурцы всегда у них. Длинные, аппетитные. Идёт китаец пружинистой походкой по посёлку, на плечах коромысло, весь в движении, кричит: «Хозяйка-мадама, огурцы!» Картошку до русских не знали. Начали выращивать. Работяги, конечно. В Драгоценке обитали довольно зажиточные китайцы. Их начали шерстить. Конфискации подлежало всё – товар, капитал, заодно и жизнь... У китайских коммунистов ещё проще с коллективизацией, чем у наших, было...

Запомнился эпизод: едет по улице бричка, правит, надо понимать, коммунист-китаец, а за ней на привязи, как собачонка, китаец-богач бежит-запинается. Местный буржуй. Была за Драгоценкой Скотская падь. Овца падёт или корова – туда увозили. Не закапывали. Срабатывала естественная экологическая система. Волки быстро очищали местность от

падали. Китайца-купца, протащив по Драгоценке, доставили в Скотскую падь. Народ китайский и русский созвали на показательное уничтожение угнетателя. Отвязали мироеда от телеги и на колени. У китайцев это национальная традиция – на коленях казнить. Так головы когда-то отрубали. Здесь к расстрелу приговорили без суда и следствия. Какой суд, когда богатей? Поставили на колени и в затылок из винтовки.

Я тоже увязался за всеми в Скотскую падь, отец рявкнул: «Домой!» И правильно сделал. Подобных расстрелов было несколько. В сумме не один десяток драгоценских китайцев-кулаков в Скотской пади подверглись классовой экзекуции. Как-то встретил данные: в Драгоценке жило около девятисот китайцев, а русских более полутора тысяч. Если в Верх-Кулях, втором по величине посёлке Трёхречья, русских было как в Драгоценке, то китайцев всего-то человек тридцать. В других деревнях и того меньше. Но почти в каждой большой деревне нашлись китайцы, сошедшие за кулаков.

После них взялись за русских. Советское консульство в Маньчжурии дало согласие на коллективизацию, чтоб, значит, китайцы не обиделись. Ломать – не строить. Дураков и подлецов под любой лозунг искать не надо, сами найдутся. Нищих в Драгоценке не было, небогатые – да. Кто-то из них соблазнился на чужое. По Трёхречью прошла директива – самых зажиточных раскулачить и организовать колхозы. Принародно расстреливать, слава Богу, с показательные

пробегами по селу не стали, но дело пошло по схеме: у богатых отобрать – бедным раздать. Стали создаваться комитеты бедноты, их ещё называли «раскулачники», они составляли списки «кулаков» и проводили акции раскулачивания.

Под этот маховик попала моя единственная тётушка по отцу, Царствие ей Небесное, покоится в Казахстане – Соломонида Фёдоровна. Мы жили в соседях, через заплот. Муж её Налётов Иван Михайлович из ясашных – с примесью тунгусской крови. Это обстоятельство, а также то, что он вдовцом сватался к девушке Соломониде, её мать, мою бабушку, заставило сказать: нет. Единственную дочку и вдруг за мужика с ребёнком, вон сколько молодых казаков на неё заглядываются.

«И отец, будь живой, не благословил бы», – непреклонно держалась своей позиции бабушка. Не дала разрешительную бумагу, а нужна была именно бумага, без которой не обвенчаешься. Однако старшие братья встали на сторону сестры, провели работу с матушкой, скрепя сердце та согласилась. И вскоре поняла: не ошиблась. Много знала Драгоценка прекрасных хозяев, Налётов был исключительным. Отстроил дом, который и сегодня можно назвать коттеджем... Не помню другого во всей Драгоценке крытого не тесовой кровлей, а оцинкованным железом. Иван Михайлович пользовался авторитетом у казаков. При постройке миром Сре-тенского храма, его избрали председателем строительного комитета... Есть у меня ксерокопия статьи из харбинского

журнала с фотографией этого комитета, Иван Михайлович рядом со священником сидит. И заметно, что левый глаз повреждён. Он был из тех мужиков, которые всё умеют: столяр, шорник, сапожник... Однажды сапоги шил и повредил шилом роговицу... В его табуне ходило более сорока лошадей, крупнорогатого скота держал сотни полторы голов. Своя сноповязалка, веялка, сеялка, молотилка, сепаратор, плуги... И столяр был известный на всю округу, сколько рам и дверей изготовил для новых домов, семьи были большие, дети подрастали, женились, отделялись от родителей...

Реквизировали у Налётовых всё. Оставили коровёнку и лошадь, дескать, какая китайская власть добрая – не пустила по миру. Из дома выгнали. Тут уж как хотите, пожировали и будет. Тётушка с мужем пошли жить к родному брату Ивана Михайловича – Гавриилу.

Самое забавное, их раскулачили, а муж их старшей дочери Тони – Георгий Андреевич Губин, а попросту Гошка – в колхоз записался. Вот уж парадоксы судьбы. Это был тот самый Гошка, который в тридцать втором году парнишкой под пулями бежал от голода из советской колхозной деревни. Родители у него умерли в конце двадцатых, один остался. Бродяжничал. Сестра Наталья, на семь лет старше, в то время в Маньчжурии была. Мой отец году в семидесятом признался, это держалось в строжайшей тайне: Наталья, сбежав в Китай, попала в Хайлар. За душой ни гроша, и одно время в самом начале тридцатых на жизнь зарабатывала в доме

терпимости. А потом перебралась в Драгоценку, вышла замуж за Мирсанова, вдовца, лет на десять её старше. С моими родителями Наталья была в хороших отношениях, покумились даже – она крёстная моему брату Михаилу.

Гошка, отчаявшись выжить в Забайкалье, решил подорвать в Маньчжурию: знал – где-то там сестра. Пошёл зимой через Аргунь. Пограничники засекали перебежчика, открыли огонь из винтовок. Повезло Гошке, метких стрелков не оказалось среди красноармейцев, а может, пожалели подростка, пули свистели рядом, но ни одна не задела. Невредимым пришёл в Драгоценку. Став парнем, женился на моей двоюродной сестре Тоне, тётушки Соломонины дочери. А как началась коллективизация в Китае, одним из первых подался в колхоз.

У Налётовых была небольшая мельница, и зять их – Гошка – при ней за механика. Газогенераторный движок стоял, ремённая передача, жернова, мы, ребятишки, заглядывали посмотреть, как зерно превращается в муку. Рядом с мельницей стояла длинная поленница маленьких чурочек для движка. Душа у Гошки не лежала к работе со скотиной, в поле, а мельницу любил. Был он характера лёгкого, весёлого, говорун. Может, этим и влюбил в себя Тоню, молчаливую и серьёзную – противоположности притягиваются друг к другу. Хорошо играл в бабки, когда сходились взрослые, мало кто составлял ему конкуренцию.

– Ты, Гошка, поди слово какое знаешь? – говорили ему.

– Не я на руки хорошо плюю!

Нас, мальчишек не гонял мельницы, показывал что к чему, а то и скомандует чурочки подносить.

Мельницу тоже реквизирировали у Налётовых. И как-то быстро после этого она сломалась, стояла заброшенной.

Колхозники жили, как в советском кино, весело, да с за-теями. В мае пятьдесят второго года на переменке выскочил с ребяtnей на крыльцо школы, а мимо на посеvную колхозники едут на брйчках. С плакатами и раздольной песней «От колхозного вольного края»... Красота...

В Драгоценке семей пятнадцать вошли в колхоз. В других посёлках и того меньше – три, четыре... У нас в надежде на богатое беззаботное будущее записались в коллективное хозяйство, кроме Губиных, Белоусовы, Бояркины, Даурцевы, Писаревы. Кому-то голову задурили агитаторы, кто-то, привыкший по жизни не утруждать себя крестьянским трудом, надеялся дурака валять в колхозе, как в том анекдоте. У колхозника спрашивают: «Какой секс предпочитаешь, коллективный или индивидуальный?» – «Само собой, коллективный!» – «Почему?» – «Сачкануть можно!»

Семья Таскиных записались наполовину. Пётр Таскин, второй зять Налётовых, муж их дочери Натальи, один вступил в колхоз. Жена не захотела и корову свою не отдала. Была казачкой лихой и упрямой, заявила: режьте меня на части хоть всем колхозом – не получите скотинку. Корова была удойная, не могла её Наталья на сторону на произвол судьбы

отдать. Петя резать на части жену не стал, без коровы и жены записался в колхоз. Наталья потом долго называла мужа «мой колхозник».

Одни из первых записались в колхоз Писаревы, родители моего одноклассника Пети, Царствие ему Небесное, был на год старше меня, а учились вместе... В год коллективизации, в начале апреля, мы с младшим братом Мишей, дай Бог ему здоровья, под Курганом живёт, чистим в ограде, Петя Писарев верхом въехал в колхозный двор, бывший Налётовых, в нашу сторону направил коня... Дворы у нас были комплексные, один для лошадей, второй, со стайкой, для коров. В ограде в зимнее время стоял скот дойный и рабочие лошади, а молодняк на заимке. У нас была заимка в пади Заалтыш, это километрах в двадцати от Драгоценки...

В ограде с Мишей чистим... Работы для пацанов всегда хватало... Только рабочих лошадей у отца в хозяйстве до двадцати доходило. Двор здоровенный... Усадьбы у всех по гектару и больше. Оно и не надо таких площадей, да на дармовщинку почему не нарезать – налоги не платили. Лишь после сорок пятого ввели китайцы пошлину – и то поначалу незначительную. На усадьбе красная изба с кладовкой, отдельно домик – зимовье. Пол в красной избе деревянный, в зимовье – земляной. Там русская печь была приподнята над полом, а под ней курятник. В зимовье новорождённых телят в морозы держали, ягнят. Стоял большой сепаратор. Коровы не молочного направления, но всё равно молока от со-

рока-пятидесяти голов набиралось поряdochно. При японцах появилось электричество. На паровой мельнице установили движок, столбы поставили, провода протянули, электричество появилось в Драгоценке... У нас и в зимовье лампочка была. На усадьбе также стоял амбар, сенник, баня (по-чёрному), огород тут же.

В зимовье вплотную к русской печке стояла деревянная кровать, называли её голбец. «На голбце отдышал». У печки, как положено полати. В детстве я слаб на горло был, часто прихватывала жестокая ангина. Как горло заложит, мама загоняет на полати. Однажды угораздило на Пасху заболеть. До слёз обидно: все в бабки играют, на качелях качаются – специально строили огромные качели, – а я на полатях реву. Мама, Царствие ей Небесное, успокаивает: «Павлик, у тебя вся жизнь впереди, наиграешься ещё».

Навоз, перемешанный с соломой, скапливался в ограде быстро, а как сантиметров в десять слой наберётся, надо вывозить на задворки... И вот грузишь, грузишь его на сани... А всё одно что-то оставалось, перегнивало... Нижние жердины заплота уходили в землю. Приходилось наращивать заплоты. С годами чуть не на метр поднималась ограда.

И получалось идеальное место для неформальных спортивных соревнований. На школьном стадионе проводились районные олимпиады, со всех деревень Трёхречья собиралась молодёжь. Парни, девушки... Играли в волейбол, бежали, прыгали. Мы, пацанва, насмотримся, наболеемся, а как

разъедется олимпиада, устраиваем свою – улица на улицу. Мини-стадион разворачивали в ограде для скота, перегной – лучше не надо подушка для прыжков в длину, высоту. Взрыхлишь, и площадка готова. Умудрялись даже с шестом прыгать. Для этого выбиралась жердь лёгкая и прочная... Я легко с таким пружинящим снарядом полтора своего роста брал...

На моей памяти перегной стали использовать в качестве топлива. Вблизи Драгоценки все берёзы в падах вырубил, ездить по дрова приходилось вёрст за двадцать-тридцать. Дополнительным топливом стали применять аргал, так на тунгусский манер назывался кизяк. Перегной по весне, пока смёрзшийся, отец рубил на кирпичи, мы, дети, складывали их в штабель с отверстиями для просушки, за лето он естественным образом высыхал и прекрасно горел...

В тот раз чистим с Михаилом в ограде, сани нагружаем, Петя Писарев появляется на гнедом жеребце Буране, на водопой его гонял, на ключ в Кокушинскую падь, заодно променаж сделал, жеребец лоснился от пота. У Пети был старший брат Георгий по прозвищу Патришонок. Тогда я не задумывался что и почему – Патришонок и Патришонок. Через много лет узнал, что он мой двоюродный брат. Петина мать нагуляла его в девках с моим дядей по маминой линии – Иваном Петровичем Патриным. Астаха Писарев взял её с чужим ребёнком.

У Астахи была кудлатая голова, и улыбался всегда... Ли-

цо круглое и как солнышко. Светлый человек... С кем из взрослых любил здороваться, так с ним. С ограды увижу – идёт, я скорее за ворота и навстречу шагаю, будто куда-то по делам направился... Ты малец, но он поздоровается с тобой, как со взрослым. Ни тени снисходительности. И ты себя чувствуешь настоящим парнем.

С Петькой Писаревым мы даже одно время за одной партой сидели. И вот он на Буране верхом заезжает... Отменный был у Налётовых бегунец. Высокий, белые носочки на передних ногах. Шёл первый колхозный год, ещё не успели разбазарить коллективные хозяева табун Ивана Михайловича. Надо отдать должное, Петя был неплохой наездник, с любовью относился к лошадям. Бегунца к заплоту направил, меня окликнул:

– Ну что, Павлик, как там ваш Рыжка?

– Отлично! – говорю. Но тон Павлика мне не понравился.

У отца в то время подрастал бегунец – рыжий, горячий, грива на две стороны, отец ему пророчил хорошее будущее: «Не один приз, Павлик, возьмём с Рыжкой!» Рыжка и сам рвался в бой. Любил, когда я его в галоп пускал.

Петя спешил, с хитрецей бросил:

– Скоро ваш Рыжка будет в колхозной конюшне!

Сердце моё ёкнуло, но промолчал. А отцу передал Петины слова. Нас по схеме коллективизации должны были раскулачить во второй волне. После первой планировалась масштабная следующая. Отец не стал её дожидаться, не афиши-

руя свои намерения, поехал с Рыжкой в Хайлар и продал...

Поплакал я тайком от родителей, жалко было бегунца до горьких слёз, ведь так мечтал, видел себя, как на скачках первым лечу на Рыжке к финишу на виду у всей Драгоценки...

Матерью Рыжки была Косолапка. У отца как один бегунец выходил из строя, на подходе обязательно другой был. В табуне всегда две-три матки... Родилась Косолапка в Никольские морозы. У землячки Марины Чайкиной в стихах о Трёхречье есть слова:

Край и дик, и суров, а трескучей зимою
Голубей на лету подсекает мороз.

На Николу морозы под пятьдесят градусов – обычное дело. Отец утром пошёл во двор сена скотине дать, смотрит – жеребёнок трясётся от холода. Часа три уже как народился. Отец подхватил его и в зимовье. В угол для новорождённых телят поставил... Кобылка была. Печь натопил... Долго возился с ней. Какими-то отварами поил, чуть не спал рядом, бегал по ночам смотреть, пока не отошла... И выходил... Но простуда взяла своё – ноги искривились. Почему и назвали Косолапкой.

В рабочие лошади она с таким увечьем не годилась, в хомуте и под седлом никогда не ходила – организм работой не изнашивался – поэтому давала крепкое потомство. Самое интересное, а в нашей округе было изрядно волков, Косолапка рожала исключительно дома. Беременная ходила в табу-

не, но не потеряла ни одного жеребёнка. Чувствуя приближение родов, из табуна шла домой и рожала под защитой хозяина. Чувство благодарности к нему хранила всю жизнь. И ни одного года не пропустила, аккуратно давала приплод... С десяток отменных жеребят принесла.

Колхоз просуществовал в Драгоценке года два. Всё профукали колхознички, пропили, пустили по ветру... В последние колхозные месяцы неприкаянно бродил по Драгоценке однорогий колхозный бык. В насмешку его звали Колхозник: «Гляди-ка, Колхозник по миру пошёл, жрать опять хочет». Отец в подпитии, язык развяжется, подделываясь под китайца, повторял:

– Кому нара – хорошо, кому низа – плохо.

Мама ворчала:

– Доболтаешься, будет тебе «комунара»! Будет и «нара», и «низа» под нарами – посадят в кутузку!

А младшая сестрёнка Галя (кто уж её научил?), маршируя, декламировала, много раз повторяя:

– Сталин, Ленин Мао Цзэдун – вся компания тун-тун!

Громко, с выражением. Тун-тун по-китайски – вместе.

Русские колхозы в Китае быстро разорились, и было принято решение, конечно, при участии советского консульства, а значит, Москвы: прекратить дуроту. Возвращать раскулаченным было нечего – ни скота, ни сельхозтехники, одни строения. Тётушка Соломонида с Иваном Михайловичем вернулись в свой дом. Иван Михайлович его несколько ме-

сяцев ремонтировал. А через год Хрущёв подписал в Пекине соглашение, и мы двинулись в Советский Союз.

Никак не могла советская власть примириться – где-то русские живут по другим законам, китайцы подыгрывали – всячески вредили. Дрова заготавливать собрался – бери у китайцев разрешение, а те всячески волокитили, ставили рогатки... Или надо пахать, сеять, а на выезде из посёлка пост. Китайка и русская выезжающих едва не обыскивают, чтоб не провезли спички. Будто бы в целях пожарной безопасности. Но как обойтись без спичек в поле, на сенокосе? Как варить?..

И всё равно нас технически с подачи советского консульства раскулачили. В пятьдесят четвёртом, уезжая в Советский Союз, хозяйство за бесценок и мы, и все русские сдавали китайцам. Отец, можно сказать, подарил им только крупного рогатого скота сто голов, лошадей – пятнадцать. Строения шли почти задаром. Пекин прислал с юга китайцев обживать Трёхречье. Им достался наш дом. Единственно, что продали по хорошей цене – бегунца Карьку, за семь миллионов юаней. Простая кобылица шла за какие-то сотни юаней. И обменный курс установили в Союзе неравнозначный. Стадо крупного рогатого скота сдали, а в Союзе смогли купить одну коровёнку. Кое-какие вещи, конечно, привезли. Отличную кожаную куртку перед отъездом купили. С меховым отстёгивающимся подкладом, на замке, меховой воротник. Ганя освобождён из лагеря, и мама ему подарила. Шикарная

по тем временам вещь. Храню фотографию – Ганя ездил в пятьдесят восьмом в Кисловодск и там сфотографировался в этой куртке...

Моё поле

Как казачонок садится на лошадь? Думаете, подводит к крыльцу или какой-нибудь колоде и оттуда попадает на спину коню. Можно и так. А если казачонок в поле – ни крыльца, ни колоды поблизости и посадить некому? Два варианта решения проблемы, в зависимости под седлом конь или нет. В первом случае проще – хватайся за стремяна, а дальше, где зацепишься, где подтянешься... Используя силёнку в руках, ловкость и гибкость, как паучок, взбираешься... Ситуация при отсутствии седла. Тогда обвиваешь левой ногой переднюю ногу лошади, левой рукой хватаешься за гриву, подтягиваешься, правой рукой обхватываешь шею, закидываешь правую ногу и... ты уже настоящий казак... Бьёшь пятками по бокам лошади – вперёд...

В Трёхречье земля плодороднейшая – чернозём. И столько этого богатства, пшеницу на одном месте всего три раза сеяли: залог (целина), перелог и третий хлеб. После чего сеяли овёс, гречиху или оставляли землю отдыхать, появлялись залежи. Климат исключительный, засушливый год – редкость. Рай для крестьянина. Отец заседал десятин десять-двенадцать пшеницей.

Мне довелось пройти все этапы сельхозработ. Начинал в шесть лет с пристяжного. Пахали на быках, дышловая упряжь, две пары впряжены, а на построшках впереди ло-

шадь, в седле казачонок – направляет быков строго по борозде. Впервые за старшего (уже не пристяжного) пахал в пятьдесят третьем. Отец выбрал для залога падь Лабцагор. Пахали вчетвером. Кроме меня Миша, родной младший брат, и двоюродные Саша с Алексеем, дети тётушки Харитиньи. Саша сейчас в Германии. Женился в Казахстане на немке. Тридцать лет с ним не виделись. Как-то звонит, спрашиваю:

– Саша, помнишь, как залог пахали?

– Такое, брат, не забывается.

Он сейчас, как заложник в Германии, ему съездить в Россию – это года три копить, во всём себе отказывая. Алексей живёт в Кургане. Клин, что мы поднимали, десятин пять. Приличный кусок... Десятина – это гектар с лишком...

Падь упиралась устьем в речку Барджакон, или Барджаконку. В том месте пади шли чередой, выходя к воде. Склоны сопки пологие, поросшие ургуйчиками. Один склон мы частично распахивали, борозда забирала вверх...

Отец нас привёз, объяснил, что к чему, и уехал, варись в собственном соку, не маленький уже – четырнадцать лет. У нас была будка, деревянный фургончик на колёсах. Жилая площадь три-четыре квадратных метра. В самый раз переночевать, не боясь ядовитых змей. Пищу готовили на костре, используя трёхногий каган... Воду брали с Барджаконки. У китайцев в бакалейках продавалась прекрасная лапша в бумажных пакетиках, мы называли её крупчаткой. Пополам переломишь и суп-лапша... Мясо – или баранина, или вяле-

ная свинина...

Первый уповод (первая половина дня) отпашешь... Поднимались рано, до восхода солнца, ни жары, ни паутов – этих зловредных мучителей. Земля в предутреннем покое, последние росные часы, восток светлеет, ночь отступает. Тогда, само собой, почти не замечал красоты Трёхречья, казалось, так и должно быть. Пахали залог, не тронутую никем целину, до Петрова дня, чтобы следующей весной это поле дисками пройти и сеять. Сеялки были уже конные, у нас такая появилась в начале пятидесятых, но в памяти на всю жизнь осталась картина: отец с лукошком на груди идёт по полю... Раз за разом из-под его руки сверкающим на солнце веером зерно ложится на землю. Взмах – и вспыхнули золотые искры, взмах – и ещё один золотой веер летит к земле... Поле чёрной полосой тянется между сопок, отец делает шаг за шагом, а я, опережая события, представляю, как появляться первые всходы, земля покроется зелёным ковром, а потом пожелтеет и заколосится пшеница... Перед началом сева отец сказал короткое: «Господи, благослови», – перекрестился, ступил на поле, и вот он уже далеко-далеко ушёл от меня...

Лето при вспашке залога в самом зените, трава в полной силе... В падах ранней весной цвели ургуйчики (видимо, от тунгусов название) – белые, сиреневые, голубые. И сплошным разноцветным ковром. Предпочитали они плодородную почву, а цвели сразу как снег сойдёт. Стебелёк сантиметров

пятнадцать, и цветков не один в соцветии, много... Для овец – это было лакомство, на ура шли на ургуйчики. Перед тем, как отдать тунгусам отару на летний выпас, неделю или две мальчишки пасли овец в пади за деревней, выгонишь, они буквально с полчаса пощиплют ургуйчики и всё – наелись, ложатся. К вспашке залога ургуйчики, конечно, давным-давно отцветут, одни стебельки с листочками, и полно их в пади...

Плуг называли самоход, немецкий или английский. У обычного плуга есть чапыги, в этом нет никаких ручек, не надо идти за плугом, направлять его движение... Настроишь, а дальше сам движется. Рычаг опустишь, как в борозду вступят быки, лемех врежется в землю... А земля-то какая! Сидишь в пристяжных, оглянешься: тяжёлый пласт от плуга отваливается и маслянисто, жирно блестит... И борозда ровно идёт за быками...

Быки – скотина вредная. Утром ещё ничего, к концу первого уповода, когда солнце нещадно палит, пауты скотину облепят, сладу с ней никакого – до слёз доходило. Выпряжешь в тенёк увести, под дымокур, жару переждать, быки вместо благодарности хвост дугой и в Драгоценку. А это километров пятнадцать. Я на лошадь. Скачу и плачу от бессилия. Перед деревней слёзы вытру, казак ведь, мама выйдет к воротам: «Ну не быки у нас, а какие-то черти рогатые, прости меня Господи. Ничего, Павлик, постоят немного, отойдут да погонишь обратно, у отца тоже, случилось, убежали,

такая дурная скотина...»

В пятьдесят четвёртом, на следующий год после моей первой самостоятельной вспашки залога, у основной массы крестьян-казаков руки опустились. Китайская власть держала чёткий курс на вытеснение русских. Драгоценка сидела на чемоданах. Зачем сеять? Мартышкин труд. Но отец из породы крестьян – война войной, а в поле выходи. Мой залог весной продисковал, разрыхлил и посеял. На целине, как правило, стопроцентный урожай. К Петрову дню пшеница в колос выходит. Мне посмотреть хочется. А в доме тарарам – сборы. «Это берём?» – «Нет?» – «Да ты что! Такое оставлять китайцам?!» – «Ну, бери-бери!» Но уже некуда. Возьмёшь одно – другое надо бросать. Родители ходят озабоченные: что ждёт на новом месте? Как там устроимся? Кое-как отца упросил съездить на моё поле. Поначалу ни за что не хотел: – Некогда, Павлик, некогда! И зачем?

Потом понял: хочу попрощаться с полем. Запряг лошадь...

– Такая же пшеница уродилась в первый год в Драгоценке, – сказал, трогая колос. – Вовремя дожди прошли. И с твоего поля будет отменный урожай!

Я пошёл наискосок к сопке, разводя колосья, как воду. Кипели слёзы, до того было жалко оставлять всё это... И будто впервые увидел трёхреченское небо, бескрайнее, яркое, с застывшим в вышине облачком... Дальний зелёный склон сопки поднимался к небесной синеве... А поле (моё поле!)

живым золотом расстиралось передо мной. Оно ещё вбирало в себя соки земли, напитывалось солнцем, ему больше месяца зреть, прежде чем пойдёт жнейка, а потом две или три пары быков потянут сноповяз, всегда удивлявший умной работой – подбирает жнивье, оно подаётся в барабан, где комплектуется сноп, затем он поступает в снопонакопитель, который раз за разом выдаёт партию в пять-шесть снопов... И каждый крепко увязан льняной или конопляной нитью... Снопы составят в суслоны, и зерно, оставаясь в колосе, будет сохнуть, дозревать, доходить до нужной кондиции...

Я будто предавал это поле, первое и, как оказалось, последнее в моей жизни. Бросал его на произвол судьбы, отдавал на поругание китайцам. Поднимая залог, мечтал: повежут пшеницу, выращенную на этой земле, на мельницу, потом мама будет печь хлеб из муки нового урожая. Вот она деревянной лопатой достанет последнюю булку из печи, поставит на стол рядом с другими, перекрестит и скажет: «Ну, отец, уже и Павлик у нас совсем взрослым стал...»

Никогда после этого не пахал... А снопы по сей день могу вязать. Руки помнят...

Как воды пить в жару

В конце июля 1981 года мы поехали с отцом на его родину, в Читинскую область. В посёлке Кузнецово остановились у родственника по маминой линии – Алексея Банщикова. Банщиковых много было и в Кузнецово, и в Трёхречье. Алексей в Ильин день – второго августа – устроил нам выезд на природу. Барана заколол... А водки в магазине нет. Искать её поехали на уазике в ближайšie сёла, что вниз по реке Газимур. В один магазин заехали – нет, во второй – нет... И только в посёлке Красноярово оказался столь необходимый к барану продукт. Благодарю Бога, что так получилось, ведь я побывал в станице, где мой дед Фёдор Иванович три срока был атаманом. Отец в последний раз ездил в Красноярово в семилетнем возрасте, когда старшие братья взяли его на строевой смотр.

Я купил водки, мы на том же уазике поехали на речку Янки. Горная речушка, на берегу расположились. День ясный, тёплый. Солнышко не торопясь по небу движется, ветерок освежающий... Отец ещё мог выпить. Сидим, разговоры разговариваем, он вдруг встаёт:

– Давайте поднимемся на Янкинскую.

Горушку так назвал, что сбегала к берегу речки. Я принялся категорично отговаривать. По паре рюмок приняли, да и возраст, как-никак семьдесят семь уже... Гора неболь-

шая, но подъём ближе к вершине довольно крутой. Метров сто вверх. Отец иногда жаловался: голова кружится. Быстро со стула встанет или что-то в наклон поделает. Побоялся я перед дальней дорогой, мы ведь на самолёте решили лететь... Отец молодцом – отлично дорогу перенёс. Летели над самым Байкалом, и повезло – ни облачка, озеро-море как на ладони... Отец припал к иллюминатору, а глаза счастливые, как у ребёнка, – такую красоту Бог сподобил лицезреть... С затеей подняться на Янкинскую попытался его придержать:

– Папа, зачем тебе? Высоко, выпили уже.

– Пошли!

И упрямо направился вверх. Я ему палку подыскал – удобнее, опираясь, идти...

Панорама с Янкинской открылась на пол-Земли... До горизонта – что вправо, что влево, что вперёд смотреть – лесные дали. Бескрайний зелёный пласт, в западной стороне таёжное озеро вытянутым стеклом брошено... Отец на восток рукой показал:

– Вот там была дорога, по ней мы с мамой, братьями и сестрой Соломонидой шестьдесят один год назад уезжали в Трёхречье.

Я уставился в ту сторону, будто мог разглядеть среди леса дорогу, на ней телеги, гружённые деревенским скарбом, мешками с зерном, залогом будущих урожаев... Смотрел вдаль, пытаюсь увидеть бабушку Агафью, умершую за шесть лет до моего рождения, молодых дядю Федю, дядю Кешу,

тётушку Соломониду, всегда приветливую и ласковую со мной...

Я уже говорил: бабушка решила старших сыновей – Ивана, Василия, Семёна – оставить в Кузнецово, а с младшими и дочерью обосноваться на новом месте, намереваясь, когда всё уляжется, снова соединиться... Или с одной стороны от Аргуни, или с другой... Где лучше будет...

– Теперь, Павлик, – присел на валёжину отец, – и помирать не страшно.

Он сломал ветку лиственницы, подал мне:

– Возьмём домой.

Довезли. Ещё раньше в Кузнецово на берегу Газимура набрал пару горстей разноцветных камешков:

– Могилку мою украсишь.

В Кузнецово сохранился дом деда. Добротный пятистенник. В нём родился мой отец и дед умер. Крыша новеньким шифером покрыта. Я постучал в калитку, залаяла собака, вышел средних лет, лысоватый мужчина, мы объяснили своё историческое отношение к его усадьбе, попросили разрешения зайти.

– Проходите, чё там! – радушно пригласил хозяин.

Я сфотографировал отца на крыльце.

– Вот что значит листвяжный, – отец погладил бревно стены, – почти век, как построен и, если не сгорит, стоять и стоять будет.

– Типун вам на язык! – засмеялся мужчина. – Чё бы нам

гореть!

Дом метрах в пятидесяти от речки Газимур. В Драгоценке тётушка Ханочка и дядя Кеша жили в километре от нашего дома на улице, которая называлась Газимур в честь этой самой речки. В детстве меня удивляло это совершенно непривычное для уха название. Спрашивал у старших братьев, отца... Почему-то Хаул, Дербул, Ган не вызвали вопросов, а Газимур казался чем-то из ряда вон...

С полгода назад был в гостях у младшей сестрёнки Гали и ударился в воспоминания о нашей поездке с отцом в Кузнецово, сестрёнка загорелась:

– Свози в Забайкалье.

Меня и самого больше туда тянет, чем в Драгоценку. Трёхречье полностью окитаилось. Нашего дома нет. Школу, церковь снесли. Земляк-полукровец пять лет назад был в Драгоценке, рассказывал... Зато в пади Кокушиха сопки берёзой поросли. Когда мы в пятьдесят четвёртом уезжали – ни одного дерева там не росло, все на дрова ещё в тридцатые годы извели. Но китайцы драконовские порядки установили: не могли ветку сломать, не то что дерево спилить...

Дом деда сохранился в Кузнецово, а дом дяди Вани, старшего брата отца, нет. На его месте пустырь. Ничего не осталось от построек. Всё травой заросло. Отец посмотрел, покивал головой с раздумчивым:

– Да-а-а, – и открыл мне семейную тайну:

– Если покопать здесь, может, и золотишко нашлось бы.

Оказывается, имелся золотой запас у деда. По его смерти распоряжалась семейными ценностями бабушка, Агафья Максимовна. Мой отец и сам до конца не знал, всё ли золото осталось в Кузнецово, или мать, уезжая с младшими сыновьями и дочерью в Трёхречье, что-то взяла с собой. Умели в семье хранить секреты. Было у моего отца подозрение, что Соломону мать наделила золотыми монетами в качестве приданого. Каким бы хорошим хозяином ни был муж Соломону Иван Михайлович Налётов, но ни у кого не помню в Драгоценке крыши, крытой оцинкованным железом...

– Мало кто поставил такие знатные дома в Драгоценке, – сказал отец, – вполне возможно, золотишко пошло на постройку дома.

Сходили мы на кладбище в Кузнецово, где похоронен мой дед – Фёдор Иванович Кокушин.

– Хорошо помню угол с его могилой, справа от входа, чуть в глубине, – рассказывал по дороге, волнуясь, отец. – Похороны не отложились, мне ещё и четырёх лет не исполнилось, но на Радоницу, помню, ходили. Крест добротный листовяжный стоял.

Ни креста мы, ни бугорка не нашли. Кладбище заброшенное, заросшее, неогороженное. Давно уже не хоронили на нём. Кое-где торчали в бурьяне кресты. Отец постоял, поплакал... По дороге с кладбища, за его территорией, наткнулись на камень, торчащий на метр из земли. Отец наклонился:

– Это же с памятника купца Вагина! – обрадовался. – Вот

надпись...

И запечалился:

– Кому-то понадобилось сковырнуть.

Он помнил похороны купца. Гроб по станице несли не на полотенцах, а на дорогой ткани...

По просьбе отца сфотографировал его рядом с остатком памятника Вагину:

– Это, пожалуй, всё, что осталось от того кладбища, где отец упокоился, – сказал, глядя в объектив.

Мы были в Забайкалье в самую сенокосную пору. Вдоль Газимура едем на узике, а травостой изумительный, и никто не косит. Отец, глядя на грустную картину, проронил с крестьянской болью:

– В наше время столько скота держали, из-за нехватки сенокосов казаки, кто порасторопней, в Маньчжурии косили, скот туда гоняли на откорм...

Когда я в 1965-м привёз в Троебратное свою будущую жену знакомить с родителями, отец наедине сказал ей:

– Любаша, я человек земляной, всю жизнь на земле. Бога благодарю, кроме топора и косы ничего в руках не держал, хоть и казак потомственный.

Не пришлось с шашкой и винтовкой на людей идти...

В 1981 году была его вторая и последняя поездка на родину. В первый раз он в 1973-м собрался. В Борзе жил мой хороший институтский товарищ Володя Самсонов, мы обменивались открытками к праздникам, не теряли друг дру-

га. Отец знал о нашей переписке. Приезжаю в Троебратное в отпуск, неделя проходит, он вдруг просит:

– Павлик, напиши другу в Борзю, пусть меня встретит, хочу на родину съездить. До этого ни разу конкретно не высказывался по данному поводу. Тут, чувствую, загорелся, решение нешуточное. Мне не трудно, Володе звоню, так и так, отец надумал съездить в родные места, помощи. Володя в хорошем смысле человек услужливый.

– Без проблем, – с энтузиазмом откликнулся, – телеграмму пусть даст предварительно, я встречу в Борзе и посажу на автобус до Александровского Завода.

Конец августа, начало сентября. Я пересказал отцу телефонный разговор с Володей, он засобирился:

– Нечего откладывать, надо сейчас, пока погода стоит, осенняя слякоть не началась. Тебя провожу в Омск и поеду.

Отец тогда жил с братом Фёдором Фёдоровичем. Тот в шестьдесят девятом, было тогда дяде Феде семьдесят три года, похоронил вторую жену. Второй брак был бездетным, зато первая жена родила шестерых сыновей. Трое умерли молодыми и все от аппендицита: Михаил – в Драгоценке в тридцать шестом, Алексей – в Харбине в пятидесятом году, двадцать шесть лет ему было. Операцию в Драгоценке сделала Остроумова, был такой хирург, один на всё Трёхречье.... И вдруг началось воспаление. Повезли в Харбин. При вскрытии оказалось – тампон внутри... Ровно через десять лет, тоже в двадцать шесть Владимир умер, уже в Казахстане,

в Целиноградской области. Он после операции напился воды... Чего, конечно же, делать ни в коем случае нельзя было. Четвёртый сын дяди Феди – Николай – двадцать седьмого года рождения, мой крёстный. В Советском Союзе дядя Федя с семьёй, как и мы, поначалу обосновался в Новосибирской области, а потом они переехали в Казахстан, в посёлок Песчаное Павлодарской области. Там же осел сын дяди Феди Иннокентий, двадцать восьмого года рождения. Прирождённый легкоатлет, на коротких дистанциях специализировался. В Трёхречье постоянно первенствовал на районных олимпиадах. Самолюбивый и гордец.

Я когда первый раз пахал залог самостоятельно, отец мой отправил Иннокентия посмотреть, как мы там, пацаны, справляемся. День стоял жаркий. Натуральное пекло с самого утра. Первый уповод, уже ближе к концу, солнце палит, быки не слушаются. Я весь мокрый, красный. И вижу: Иннокентий верхом. Боже, как я обрадовался! Брат двоюродный едет. Мы уже сколько дней одни в пади. Заскучали по своим. А тут брат! Он на десять лет меня старше, мужик, можно сказать. Коня направил к самой борозде и давай выговаривать:

– Чё ты мокрый весь, распаренный, как из бани? Будто сам плуг тащишь!

До того обидно стало. Он воды попил и уехал. Такой был Кеша. А ещё – любитель выпить. Изрядно в последние лет двадцать закладывал за галстучек.

– Павлик, – подмигивал мне при встречах, – мы не пьём, а лечимся. Знаешь анекдот? Доктор мораль читает пациенту: «Алкоголь на время расширяет сосуды, но потом они снова имеют свойство сужаться. И это, запомните, очень плохо!» – «Доктор, не беспокойтесь, я не даю им сужаться!» Давай, брат, расширим сосуды по маленькой!

Мы с ним по молодости с чеченцами схлестнулись. Иннокентий жил одно время в Павлодаре – жена у него оттуда. Я из Троебратного поехал проведать брата. Иннокентий попросил помочь уголь привезти. База была километров за тридцать. Приезжаем, гора угля, а он весь или здоровенными кусками – для циклопов, или наоборот – пыль... Лишь в одном месте нашли отличный антрацит – кусочки один к одному. Крана не было, лопатами кидаем в кузов... И вдруг подъезжают чеченцы на ГАЗ-51. Их тогда полно в Казахстане было, в сорок четвёртом чуть не всех туда депортировали. Да и сейчас чеченская мафия в тех краях дела крутит-мутит. Во время Чеченской войны на Кавказе боевики приезжали в Казахстан отлёживаться. А чё – другое государство, не надо прятаться. Вольготно себя чувствовали. И басаевские головорезы отдыхали, и радуловские. Потом по новой ехали наших пацанов по-шакальи из-за угла убивать, взрывать... Чеченцы обошли гору угля, увидели, что мы самый отборный грузим, и в наглую встали перед нами с лопатами. Иннокентий им:

– Отвалите, мужики, догрузим и тогда что хотите делайте!

Одному не понравилось «мужики»:

– Ты так больше не скажи, уши отрежу!

Иннокентий послал его куда подальше. Чеченец нож выхватывает. Куда уж целил? В горло или глаз? А попал в рот. Иннокентий в гневе ощерился, в это время тот ткнул. Мгновенно всё произошло, я гляжу: на кончике лезвия передний зуб Иннокентия. Удалил, так сказать, кинжалом без наркоза. Иннокентий в ответ лопатой со всего плеча размахнулся...

– Хотел чурке башку снести!

Голову отрубить не удалось, чеченец уклонился, но ухо Иннокентий ему отсёк под ноль, и кожи кусок с волосами прихватил. Кровь хлынула... Их трое было, бросились к раненому... Наш шофёр орёт:

– В машину!

Молодец, как заварушка началась, мотор завёл. У нас был новенький ЗИЛ-130. Мы в кабину и по газам... А их шофёр, как приехали, ещё и капот поднял, что-то у него барахлило... Они, похоже, и не погнались за нами...

Как мачеха умерла, Иннокентий принялся отца терроризировать – «расширит сосуды» и пошёл вязаться. С женой Иннокентий через пень колоду жил, то сойдутся, то в разные стороны. Иннокентия «сторона» была в доме отца, где он регулярно закатывал пьяные концерты. Нехорошим был в подпитии. Ещё и пенсию отбирал у дяди Феди. Отец мой узнал, в какой ситуации родной брат оказался, и забрал дядю Федю к себе. Они из всех братьев были самыми близкими. В

Драгоценке, как отец женился в 1925-м, пятнадцать лет вместе вели хозяйство, жили под одной крышей двумя семьями. Обязанности распределили – отец занимался полевыми работами, дядя Федя взял на себя то, что касалось скота.

Отец и хоронил дядю Федю. Крест ему бетонный поставил. И поручил мне портрет на керамике в Омске заказать. Дал фото, дядя Федя в казачьей форме, в казачьей фуражке – снялся перед отправкой на фронт в 1916 году...

Случился с этим портретом казус. Внуки дяди Феди, дети его сына Василия, увидели портрет в казачьей форме... Василия дядя Федя звал «партийный». Он по приходу в Драгоценку смершевцев в августе сорок пятого скорешился с советскими офицерами по застольному делу. И пристрастился к выпивке. Было ему тогда двадцать восемь лет. СМЕРШ ушёл, тяга к бутылке у Василия осталась навсегда. Но ещё в середине пятидесятых легко демонстрировал отменную силу мышц. На турнике на одной руке (что правой, что левой) без натуги подтягивался несколько раз. Это я сам видел. Два его сына жили в Троебратном. Как-то они зашли на кладбище, смотрят – у деда на кресте портрет в казачьей форме. Советская власть ещё была. Ух, как они возмутились! И к моему отцу с претензиями прямо от могилки. Дескать, зачем это вы нас компрометируете?! Другое фото не могли подобрать? Деда беляком недорезанным выставили на всеобщее обозрение! Отец не стал подыскивать дипломатических выражений, разъясняя родственникам, что они отнюдь не пра-

вы. С матами выгнал внучатых племянников из дома...

Эту энергичную сцену встречи родственников я живо представляю – отец в гневе был неуправляем... В нём и через год всё кипело, когда вспоминал:

– Ни рубля на памятник не дали и ещё наглости хватило вклясть: деда я им не в том виде поместил!

Иннокентий Фёдорович мог под забором закончить дни свои. Дом он пропил, всё спустил, жил у казаха в Павлодарской области в работниках. И заболел – онкология. Хорошо, дяди Кеши старшая дочь Анна прознала про это, наняла машину и привезла его к себе в Песчаное. Анна сама уже была старухой со слабым здоровьем, грузная, трудно ходила, но не бросила в беде двоюродного брата. Написала мне: «Павлик, приезжай, Кеша плохой». Я лекарств набрал, поехал. Да уже ничего не надо было. Застал Кешу живым, но без интереса к жизни. Лежал худущий, на лице одни глаза... Почти не разговаривал со мной. Я ему рассказал о своих. Это было в 1984 году, Кеше только-только пятьдесят пять исполнилось... К сожалению, приходится признать, многие родственники укоротили жизнь водкой. Не было этой болезни в Драгоценке, а здесь дети трёхреченцев не прошли искушения вином... Сколько братьев моих двоюродных спилось, внучатых племянников, сестра по материнской линии...

Дядя Федя за три года до Кеши умер...

А тогда в 1973 году мой отец страшно напугал дядю Федю настырным решением ехать в Забайкалье на родину. Брат

Ганя любил вспоминать разговор двух братьев о поездке младшего в Кузнецово.

Дом Гани стоял в Троебратном недалеко от родительского. Брат всегда с удовольствием описывал эту картину:

– Захожу под вечер к родителям, отец с матерью куда-то ушли, дядя Федя один. Подхватился чаем угощать. Пряники достал, варенье, усадил за стол. Чувствую, какой-то не такой он – чересчур суетливый... Отхлебнул из своей чашки и вдруг заплакал, да горько так: «Ганя, Христом Богом прошу, поговори с отцом своим. Куда Ефим собрался? Куда? Ты сам подумай... Его же арестуют. Наша фамилия в чёрных списках с двадцатого года. Он в тюрьму лезет. Ты же знаешь, брат-то наш Семён, дядька твой, восстание поднял в тридцать первом! Другой брат, Иннокентий, у атамана Григория Семёнова служил. Пусть до революции служил, всё одно для них любой семёновец – враг из врагов. Придумают, что в Маньчжурии, в Драгоценке, был связан со своим атаманом. Заарестуют Ефима, чует моё сердце – заберут! Не вернётся домой. Втолкуй ты ему: нельзя туда!» Тут отец заходит, я чай пью. Он увидел, что дядя Федя глаза вытирает, всё понял. У них разговор не один раз был по этому поводу. Отец сказал, как отрезал: «Фёдор, я же тебе говорил: я хочу на родину, как воды пить в жару!»

Таким твёрдым тоном, с такой силой в голосе... Дескать, что бы там ни было, что бы ни случилось, я поеду. Я должен поехать. «Как воды пить в жару!»

И отец поехал. Встретился в деревне со своим соучеником, кажется Донцов фамилия. В один класс в начальную школу ходили. В 1973-м отец был крепким стариком. А Донцов дряхлый, с тросточкой. Отца Донцов сразу не признал. Головой кивает, повторяет «ну», «ага», а по глазам видно, пустым звуком для него фамилия Кокушин. Глаза водянистые, руки подрагивают. Однако через пару дней пробило земляка. В день отъезда отец с сумкой на остановку автобуса шагает, он у знакомых останавливался, родственников никого не осталось в Кузнецово, мимо дома Донцова идёт, тот на лавочке сидит, окликнул отца по имени отчеству, подошёл, шаркая:

– Вот сейчас вспомнил вас, как же – Кокушины. И Семёна Фёдоровича знал, Иннокентия Фёдоровича, Ивана Фёдоровича, Василия Фёдоровича, Фёдора Фёдоровича... И тебя, соученик, Ефимушка, вспомнил. Я тогда сразу говорил: «Зря Тёмку-то посылаете к бандитам, убежит вместе с шайкой! Не застрелит он дядьку! И к нам не приведёт». Меня не послушался товарищ Зинкевич.

Донцов в ОГПУ-НКВД служил, отчаянный, говорят, был чекист, гонялся за дядей Сеней, их отрядом.

Дядя Сеня

Коллективизация в Забайкалье, да и везде началась как? Давно Гражданская война в историю ушла, а ретивые ребята с кровью, отравленной войной и революцией, теми же революционными методами – других не знали, это была для них азбука и высшая математика – бросились загонять из-под палки в колхоз. Сверху приказ спустили, а внизу голова заточена на казарменное «равняйся! смирно!». Однако народ равняться не хотел, и тогда всех снова поделили на белых и красных. Ерепенишься, значит, контрреволюционер недобитый. Добъём, вышлем, конфискуем. В тридцатом году началась ликвидация кулаков как класса, кулацких хозяйств, как тормозов на пути в колхозное завтра. Известно, что в кулаки могли записать даже с одной коровой в хозяйстве, ну а уж, если у тебя лошадь... Сотни и сотни тысяч крестьян срывали с места и отправляли в гиблые места на спецпоселения.

В мае тридцать первого года комбедовцы ввалились к дяде Сене в дом с категоричным настроением подчистую раскулачить хозяина, раз тот против коллективизации. Дядя Сеня, недолго думая, нагайкой отхлестал проводников колхозного строя. С позором прогнал представителей власти по посёлку. Разоружил члена сельсовета Бояркина Илью Давыдовича. Отобрал у того винтовку. За дядей Сеней другие станичники поднялись, одних в то утро комбедовцы уже успели

выгнать из своих домов, чтоб отправить куда-нибудь в болота по этапу, других не тронули, но те уже знали: занесены в списки на раскулачивание. Несколько семей из Кузнецова к тому времени уже выслали в тьмутаракань на погибель.

Село забурлило. Казаки собрались в центре Кузнецова с одним вопросом: как быть, что делать? Десяткам семей назначена высылка из села, отправка на спецпоселения. То есть – ты враг, ты раб, ты изгой. Да и те, кого ещё не записали в кулаки, боялись, даже если и не раскулачат, то колхозники пустят по миру, как пить дать пустят. Что значит отдай свою скотину на общий двор? Сколько примеров в округе, когда вот сгонят коров, и ревут бедные – не доены и не кормлены. Не хотели казаки работать на дядю. Многие думали об альтернативном варианте, улетали мысленно в Трёхречье, где без всяких колхозов справно жили казаки.

Телефонная связь уже была, комбедовцы сообщили в центр района – Александровский Завод, что казачки творят самоуправство, не дают возможности выполнять раскулачиванье. В Кузнецово выслали небольшой отряд ОГПУ, но те, завидев на краю села вооружённых казаков, повернули назад.

Дядя Сеня, возглавив группу наиболее решительных казаков Кузнецова, ушёл в тайгу. Обратной дороги для него больше не было. Собственно, не было её с того момента, как попал он в списки на раскулачивание и высылки. Комбедовцы тыкали в лицо фактом, что воевал когда-то у атамана Се-

мёнова. Вспомнили, не забыли, и никогда не забудут, значит, всю жизнь носить ему клеймо врага. Жизнь переломилась. Во все соседние сёла поступила разнарядка на уничтожение кулака как класса. Но казак есть казак, с детства заточен не только на крестьянский труд, но и на ратный, с детства умеет владеть не только косой, но и шашкой. Не так-то просто затолкать его в стойло – вот твоё место и не вякай. Взволновались казаки, несогласные с коллективизацией, тем более – раскулачиванием. По всему Александро-Заводскому району пришли в движение. Кузнецовские во главе с дядей Сеньей присоединились к повстанцам отряда Петра Гавриловича Игумнова, был он из села Куликово. Насколько помню, увёл Игумнов всех в падь Каменка.

Об этом отряде встречал в печати разные данные. По одним, объединял он триста семьдесят человек, по материалам уголовного дела дяди Сени: пятьсот сорок. В основном жители посёлков Александро-Заводского района: Куликово, Кузнецово, Бохто, Макарово, Кокуй-1, Кокуй-2. Вооружены были тем, что припрятали после Гражданской, какой казак без оружия – винтовки да карабины, ну и охотничьими ружьями – берданки-дробовики.

Это было не первое восстание в Забайкалье недовольных политикой, проводимой властью на селе. Не хотел крестьянин в колхоз. Начиная с конца двадцать девятого года, в Читинской области одно за другим прошло несколько восстаний: в Малетинском, Сретенском, Балейском, Борзинском,

Чернышевском, Жикинском, Нерченско-Заводском районах. Были организованные бунтовщики в Оловянинском и Шилкинском районах. Благо для власти, все эти выступления отличались разрозненностью, повстанцы были плохо вооружены. Однако кровь лилась с той и другой стороны. Гибли партийные, советские и комсомольские активисты, милиционеры, чекисты. Сначала против бунтовщиков задействовались только части ОГПУ, затем были подключены и силы Красной армии.

Количество повстанцев в иных случаях переваливало за тысячу. Причём, многие были настроены самым решительным образом, не просто взяли за оружие помитинговать и поугаать активистов. Для ликвидации Ундино-Талангуйской повстанческой бригады (Балейский район), которая насчитывала более тысячи трёхсот бойцов, пришлось проводить войсковую операцию, которая длилась летом тридцатого года в течение двух недель. Причём, подавляющая часть восставших брались за оружие не по формуле «всё побежали, и я побежал» – осознанно, с решимостью идти до конца.

Отряд Игумнова организовался стихийно, не было предварительной подготовки, как это происходило, скажем, при восстании в Балейском районе. К тому времени чекисты уже набили руку, научились грамотно воевать против своего народа. Получив информацию о новом отряде повстанцев, они оперативно подтянули войска ОГПУ. Уже на второй день после того, как отряд Игумнова прошёлся по посёлкам Кузне-

цово, Куликово, Бохто, Кокуй-1, Кокуй-2, Макарово, распуская колхозы, разгоняя местные власти, разоружая их и призывая казаков на свою сторону, чекисты пошли войной на повстанцев. Перед этим в Кузнецово побывал взвод дяди Сени. Надо сказать, никакого сопротивления в посёлке (да и в других посёлках была такая же картина) местные власти повстанцам не оказали, обошлось без кровопролития, не считая зуботычин. Это сыграло свою положительную роль, когда судили подельников дяди Сени.

Чекисты не в лоб пошли на повстанцев. Подловили момент, когда те встали на привал под посёлком Макарово, расслабились... Одним словом, сплеховали казаки. Самоуверенность ли подвела, слабая организация, отсутствие волевого руководства, когда трезвый расчёт, отвага командира воодушевляют подчинённых, и они совершают невозможное. Чекисты застали отряд врасплох. Подъехали грузовики с бойцами и пулемётами... Под плотным пулемётным и винтовочным огнём повстанцы, практически не вступая в бой, устремились под прикрытие леса, несколько человек тут же было убито, ранено...

Много раз думал о том боестолкновении, в конце концов пришёл к выводу, слава Богу, бой не разгорелся. Меньше русской крови пролилось. Всё одно – восстание было обречено.

Дядя Сеня 1898 года рождения для Первой мировой оказался молод, в Гражданскую его мобилизовал атаман Семё-

нов. Придя из Маньчжурии в августе 1918-го со своим Особым Маньчжурским отрядом в Читу, кипучей энергии атаман принялся в срочном порядке формировать казачью дивизию. Дядя Сеня был призван в семёновцы, прошёл обучение, но заболел тифом, лишь в нескольких боях с красными довелось поучаствовать. Выздоровел и решил не возвращаться к семёновцам, не по нутру ему было это деление на белых и красных. В сентябре двадцатого года рванул в Трёхречье – в Драгоценку, куда ранее ушла его мать и три брата. Однако потом вернулся в Кузнецово, где ждала его зазноба Анна. Граница была номинальной, толком не охранялась, ни с одной, ни с другой стороны. Ездили казаки туда-сюда, можно сказать, свободно. Но в 1931 году, когда дяде Сени пришлось бежать из Советского Союза, граница была уже не та...

Дядю Сеню помню отрывочно. Один раз, скорее всего поздней весной сорок пятого, ребята постарше играли в городки возле школы в Драгоценке. Меня не взяли – мал ещё – зрителем стоял, дядя Сеня подошёл: «Дайте брошу». Первой битой промазал, выше прошла, зато второй выбил фигуру подчистую. Он чуть ли не первым меня в седло посадил. Как-то к нам прискакал, спешился, что-то они с отцом поговорили, я под ногами крутился, года четыре было, он подхватил под мышки: «А ну, давай, казак!» Ойкнуть не успел, как очутился в седле. Испугался, в луку вцепился ручонками. «Не трус, казак, пора отца просить, чтоб шашку спра-

вил да коня выделил!»

По рассказам отца, дядя Сеня был физически отменно развит. Среди братьев самый высокий. Рост под метр восемьдесят. Отец мой ростом сто шестьдесят семь сантиметров. И дядя Федя невысокий. Дядя Кеша такой же, но шире в плечах, потушистей братьев, а вот дядя Сеня рослый казачина...

Кто-то из отряда Игумнова в той первой и последней стычке с чекистами был убит, кто-то сдался, кого-то арестовали, кто-то отступил в тайгу, большинство разбежались по домам. Дядя Сеня тоже поначалу вернулся в Кузнецово, вместе братом (моим родным дядей) Василием. Переночевали они дома, а наутро решили вернуться в тайгу, а потом бежать в Маньчжурию. Понимали, за восстание их по головке не погладят. В пади Каменка снова встретились с небольшой группой повстанцев во главе с Игумновым. Воевать командир больше не хотел – плетью обуха не перешибёшь – и вариант с уходом за границу его не устраивал. Выбрал себе хорошего коня, распрощался с товарищами и ускакал.

Вслед за ним и остальные повстанцы начали разбредаться. Кто домой отправился, кто решил в одиночку в лесу отсиживаться. Ушёл и дядя Вася. Он простудился, в жару напился из ручья, ночью бросило в жар, и уехал лечиться домой. И не вернулся в отряд. Что интересно, в частые сети чекистов, которые ловили повстанцев, он не попал, повезло, не арестовали. Вскоре всего шесть человек осталось с дядей

Сеней. Однако прошло всего немного времени и отряд начал быстро расти. В сёлах действовали злодействовали чекисты, повстанцы один за другим оказывались под арестом. Те, кто порасторопнее, побежали в лес. В июле отряд насчитывал уже сорок человек. Много было кузнецовских казаков, только братьев Сапожниковых четверо. Одним взводом командовал дядя Сеня, вторым – Иван Евдокимович Банщиков. Все единодушно настроились на уход за «речку», в Маньчжурию. Тягаться с советской властью бессмысленно, оставаться – опасно. Крови, конечно, советам можно подпортить, ребята лихие собрались. Казаки с военным опытом, одни за белых повоевали, другие в красных партизанах прошли боевую школу, и молодёжь полна решимости постоять за себя. Но что может сделать горстка казаков, против регулярных частей. Идти с шашкой на пулемёты резона не имело.

Однако прежде чем уйти за границу, надумали казачки пополнить «золотой запас». Раз власть их обездолила, лишила земли, родины, ещё и норовит жизнь взять, надо хоть что-то с неё в отместку поиметь. Кто-то предложил совершить налёт на золотой прииск «Воровская». Если уж идти за границу, так не с пустыми руками – предложила бедовая голова. Её с энтузиазмом поддержали.

– Шумнём напоследок, – сказал дядя Сеня, – пусть знают, не побитыми собаками мы уходим!

Было это в середине августа. Особо не мудрствуя, поре-

шили так: взвод дяди Сени встаёт в засаду, перекрывает дорогу на прииск, дабы ни одна живая душа не проскочила на «Воровскую» и оттуда никто не выскользнул и не сообщил раньше времени о налёте. Второй взвод, под командованием Ивана Софроновича Маркова, идёт на штурм прииска. Общее руководство операцией взял на себя Иван Евдокимович Банщиков. Расчёт был ошеломить охрану прииска, решить дело дерзким наскоком. «Медведь и охнуть не успел, как на него мужик насел».

Однако не «насел мужик», план сорвался. Нападавших обнаружили раньше, чем они рассчитывали – ещё на подходе к прииску. Охранял его не подслеповатый дедок с берданкой. Золото – не колхозный склад. Тем паче ОГПУ держала чекистов в боевой готовности, в округе обреталась добрая сотня повстанцев. Завязался ожесточённый бой. Двое повстанцев погибли в перестрелке, Ивана Банщикова серьёзно ранило. Он скомандовал отход. Повстанцы отступили в лес ни с чем. Пополнить «золотой запас», точнее – создать его, не удалось.

Не имело смысла дальше тянуть с уходом за границу. Приняли решение: Банщиков остаётся в тайге залечивать рану, с ним ещё семь казаков (в том числе Марков), остальные под командованием дяди Сени направляются к границе.

Ещё до стычки на прииске в отряд вдруг пришёл Артём, родной племянник дядя Сени, сын дяди Вани. На ту пору Артёму двадцать девять лет было. Он тоже находился в отряде Игумнова, когда его разбили части ОГПУ. Прибежал

ночью домой. На следующий день не пошёл с дядей Сеней в лес, и его взяли. А вскорости выпустили. Дядя Сеня это знал, и разгадал цель визита племянника, вооружённого новой винтовкой.

На что рассчитывали чекисты, задумывая хитромудрую, на их взгляд, операцию? Пригрозили Артёму, склоняя на свою сторону, если откажешься застрелить дядю или выманишь к нам, твоим родителям и сёстрам – Таисии и Александре – несдобровать. Была у гопэушников надежда на перековылающее сознание парня: Артём знался с комсомольцами. Дали ему винтовку – порешить классового врага.

Не один раз думал я: с какими мыслями шёл Артём в отряд? Неужели смог бы предать дядю Сеню? Ведь не отказался, когда давали задание, не сказал сразу «нет». Застрелить, может, и не поднялась бы, рука, а заманить дядю в ловушку? На кону стояли родные сёстры и родители. Или как за соломинку уцепился за этот вариант. Главное – любым способом вырваться из рук чекистов. Понимал, ему как участнику восстания, грозит тюрьма.

Дядя Сеня спросил:

– По мою душу прислали? И что, племянник, делать будем?

Артём снял с плеча винтовку, отдал дяде:

– С вами остаюсь.

После налёта на «Воровскую» чекисты активизировались, получив грозную команду, во что бы то ни стало нейтрали-

зовать отряд, действующий у них под носом. Повстанцев основательно обложили. Было небезопасно подходить к сёлам. Съестные припасы закончились, ни корки хлеба в перемётных сумках. Приуныли казаки, в желудках пусто, в головах бередящие души мысли: как дальше будет?.. И тогда, видя пессимизм в массах, вдохновляющую политработу с запечалившимися казаками провёл священник. В тайге к повстанцам примкнул иерей отец Иоанн Стуков. Было ему уже за пятьдесят. Человек бывалый. В Первую мировую воевал рядовым в стрелковом полку, был ранен. До войны окончил духовное училище, служил псаломщиком, в советское время стал диаконом, а потом рукоположен в сан священника. Служил в казачьей церкви Быркинской станицы.

Священник он ведь по определению враг коммунистов, бельмо в глазу атеистов. Его без того власти терпели с 1920 года, однако летом двадцать девятого над головой отца Иоанна сгустились тучи. Да хорошие люди вовремя шепнули: батюшка, срочно уноси ноги, не то несдобровать тебе. Арест мог запросто обернуться расстрелом. Опережая драматические события, батюшка Иоанн «унёс ноги» и голову в тайгу. Благо, семьёй не обременён, вдовец. Два года скрывался в районе Нерчинских пещер. А потом присоединился к повстанцам.

От отца я не один раз слышал историю кулацко-повстанческого отряда, так его называли чекисты. Отец с большим уважением относился к Семёну Фёдоровичу, гордился им:

«В нашем роду было три атамана: отец мой три срока в Красноярово атаманил, брат Фёдор и брат Семён, эти в Драгоценке были поселковыми атаманами».

Отец Иоанн, когда повстанцы, загнанные в угол, затужили, взобрался на кучу валежника, как на трибуну, и махнул речь (отец так и говорил – «махнул»), короткую, но ёмкую:

– Братья казаки, на всё воля Божья! – размашисто перекрестился и добавил: – Даст Бог день, даст Бог и пищу!

И спрыгнул на землю.

Отец Иоанн в Трёхречье в тридцатые годы одно время служил в церкви деревни Ключевая, а потом в посёлке на реке Чол...

И ведь прав оказался батюшка: дал Бог и день, дал Бог и пищу. Рано утром отправились четыре казака в разведку и наткнулись на отару, которую бурят пас. Разведчики своего не упустили, четырёх баранов (каждый по одному на плечи взвалил) прихватили. Подкормились казачки и направились к Аргуни.

Было их тридцать человек. Надо сказать, удача несколько раз отворачивалась от повстанцев, но тут повезло. Остановились на ночлег перед границей, среди ночи к костру вышли двое: Алексей Коликов и Шестопалов, имя последнего дядя не запомнил. Доложили, что они из этих мест и тоже собрались «за реку». Вновь прибывшие были осведомлены о расположении погранзастав и погранпостов. На следующий день (19 августа, на Преображение) на рассвете отряд вошёл

в небольшой посёлок на берегу Аргуни. Запаслись хлебом у местных жителей. Коликов сказал, что лодки есть у водомеров. Пригрозили тем оружием и заставили переправить отряд на другую сторону. Водомеры и не сопротивлялись, перевезли всех на китайскую сторону, лошади вплавь добирались.

Пограничники опоздали на каких-то полчаса. О перемещении отряда им сообщили, в приграничном посёлке имелись осведомители. Когда погранцы прискакали к Аргуни, повстанцы были уже на другом берегу. Пограничники открыли огонь. Одна пуля легко ранила Коликова в руку. Остальным никакого вреда стрельба не принесла. Повстанцы ускакали от реки, оставив советских пограничников ни с чем. Китайских стражей границы попросту не было. Китай этим не заморачивался в то время. Казаки преспокойно направились в сторону Драгоценки. Дорогу дядя Сеня прекрасно знал.

В Маньчжурии власть была номинальная, гоминдановская. У многих из отряда в Трёхречье родственники жили, одни в Гражданскую бежали из России, другие позже – в двадцатые годы... Местное население имело контакты с властью. Кто-то неплохо китайский знал. Станичный атаман переговорил с кем надо и получил разрешение повстанцам легализоваться. Дядя Сеня застал живой мать, она в тридцать третьем умерла. Поселился у братьев – Фёдора Фёдоровича и отца моего Ефима Фёдоровича. Иннокентий Фёдорович жил

отдельно. Дядя Сеня планировал легализоваться, затем выкрасть семью и тайком перевезти в Драгоценку.

Раздосадованные гопэушники, у них руки чесались проявить героизм в уничтожении целого отряда бунтовщиков, если не переловить всех во главе с дядей Сеней, так хотя бы перестрелять основную массу для отчёта о проделанной работе. А получился полный пшик: отряд безнаказанно, не потеряв ни единого человека, под самым носом ускользнул.

И тогда разъярённые чекисты решили отыграться на жене командира. Начали склонять её к сотрудничеству. Дескать, ты вымани мужа, мы, как бы от тебя, пошлём человека в Драгоценку с запиской от тебя (своей рукой напишешь) с просьбой тайком забрать с детьми в Маньчжурию. Назначишь место, где будто бы ждать будешь его... Стращали, запугивали: иначе ни тебе, ни твоим детям не жить.

И загнали женщину в угол – что ни сделай, кругом клин. Как жить, предав мужа? Пусть и ради детей отдать его в руки палачам? Ведь замучают его. Как пить дать замучают. А не согласишься, откажись сотрудничать – детей не пощадят. В этом сомневаться не приходилось. В Кузнецово прекрасно знали и о расправе карателей в Тыныхэ осенью 1929 года, Караванной и других станицах Трёхречья, о зверствах чекистов в маньчжурских приграничных деревнях, где стреляли, сажали на штык от старого до малого. Грабили, насиловали женщин, бросали младенцев в колодцы.

Женщина нашла третий вариант – покончила с собой.

Жутким способом. Сыновья, Иван и Василий, из школы возвращаются (дочь Надя совсем малюткой была, годик всего), а мать лежит с перерезанным горлом. В руках сапожный нож, сделанный из полотна косы-литовки...

Дядя Сеня, узнав об этом, хотел застрелиться. Отец мой и дядя Федя целый месяц караулили его, унесли из дома винтовку, охотничьи ружья, не оставляли одного, кто-то обязательно находился рядом. Отец рассказывал, страшно было смотреть, что творилось с братом. Метался раненым зверем. Винил себя, почему не забрал семью с собой, на что надеялся. Понятно, караулили его, скорее всего, была у дома засада. Да на то он и казак. Надо было напасть, выкрасть, пусть бы лучше погиб, чем вот так.

Через полгода женили Семёна Фёдоровича на Анастасии Госьковой, родной сестре Аполлинару Ивановны, матери сошедшего с ума Алёши и второй жены дяди Кеши.

Детям дяди Сени от второго брака, Анне и Георгию, что живут в Омске, я давал адрес, куда писать для реабилитации дяди Сени... Не захотели: мол, зачем это? Спасибо Валентине (это дочь его сына от первого брака – Василия) послушалась меня, послала запрос в ФСБ. Ей прислали материалы дела отца. Девятнадцать человек из тех тридцати двух человек, с которыми дядя Сеня перешёл границу, в сорок пятом арестовал СМЕРШ...

Под звуки венского вальса

Детей дяди Сени – Ивана, Василия и Надюшку, – как мать наложила на себя руки, взяли на воспитание Иван Фёдорович и Василий Фёдорович Кокушины. Да вскоре обоих моих дядей раскулачили и выслали, Ваня и Вася пошли по миру. И растерялись на долгие годы. Оба попали на войну, да не зря говорят: Бог сирот бережёт, встречу уготовил братьям не где-нибудь – в Вене. Что один, что другой воевали в пехоте. Василий, правда, не в окопах – писарем при штабе полка. Когда мой отец нашёл его в 1958-м, он нам такие письма писал, залюбуешься – произведения искусства. Семь классов перед войной в детдоме окончил. Почерк любо дорого – буква к буквке... Сыновья мои в школе учились, показывал им в качестве примера: «Вот почерк, достойный уважения и восхищения!»

В Вене Василий в середине мая сорок пятого сбежал в самоволку. Войне конец! Жив! Счастье-то какое! Улизнул из части Вену посмотреть! В городе-красавце столько диковинного для выросшего в забайкальской глуши парня. Глазей, не боясь выстрелов, артобстрелов, бомб с неба. Идёт по городу солдат в беспечном настроении, нюх, что называется, притупился от переполнявшей грудь радости, и на патруль нарвался. Выворачивают из боковой улочки три воина, облечённые властью останавливать празднующихся победи-

телей. Относительная вольница, что имела место сразу после взятия Рейхстага, быстро закончилась, нашему солдату спуску давать ни в коем случае нельзя. Василий начал выкручиваться, объяснять, что на двадцать минут выскочил из части. Лейтенант в его документы смотрит:

– Фамилия, говоришь, Кокушин Василий Семёнович! А брат Иван у тебя есть?

Случай из разряда чудесных. Иван был из той же части, что и воины с повязками патруля на руках. «Нарушителя» патруль забрал с собой. Заодно решили фронтовички подшутить. Использовать создавшуюся ситуацию в весёлых целях. Настроение тоже радостное – войне самый что ни на есть по всей форме конец. Задержанного оставили за дверью, Ивану Кокушину объявили, мол, тебя какая-то фрау Инга домогается, требует в срочном порядке. Никого кроме тебя не желает. Взамен предлагали на выбор любого из патруля, нет, непременно «Ваньюшу, майн либен» подавай. Его одного хочет видеть и больше никого не желает. Иван удивился: «Какая-токая Инга?» Сроду никаких Инг знать не знал. Но заинтриговался. Выходит к Инге и глазам не верит...

Многokrатно братья выпили за Победу, за встречу, за мирную жизнь. Даже под звуки венского вальса чокались солдатскими кружками – вальс звучал из трофейного патефона.

В 1971-м Иван приезжал в Троебратное. Как они с Ганей сцепились! До кулаков дошло, отец разнимал. И не по при-

чине «ты меня уважаешь?». Разговор зашёл о политике, о восстании, в котором Семён Фёдорович был одним из руководителей. Иван расшумелся:

– Я бы своими руками застрелил отца. Чего он добился? Как я тогда с ума не сошёл! Увидеть маму с перерезанным горлом! А Надька в крови измазалась, ревёт, по полу ползает. Бросил нас, убежал! Враг он, враг! Что дало его восстание?

– А как можно было терпеть эти издевательства?! Эту наглость?! – кричал Ганя.

И рассказал, как обошлись с Анной Павловной Кузнецовой, родной сестрой маминого отца. Её мужа Дмитрия Петровича Кузнецова мама называла дядюшкой. Он с началом коллективизации тоже махнул через Аргунь в намерении плацдарм подготовить, затем скрытно перевезти семью. И не смог. Через много-много лет вернётся в Кузнецово... Мы с отцом были на его могилке в 1981 году... Анну Павловну после бегства хозяина раскулачили и с пятью детьми вышвырнули из дома. Четыре девочки, старшей восемь лет, а сыну года ещё не исполнилось. Среди лютой зимы выгнали за ворота, забрали всё, даже самовар! Врагам народа самовар не положен. Анна Павловна – женщина сильная, выкопала землянку. Одна, без чьей-либо помощи. Героическая женщина. В колхоз её – враг народа! – взять не могли, а надо как-то кормить семью. Устроилась в бригаду золотодобытчиков. Наравне с мужиками работала. Копали шурфы, до-

ставали породу, однажды была внизу, наполнила бадью, отправила наверх, а принимающий упустил, и по голове... Бог хранил... Сотрясение, наверное, получила... Поболела, рассказывала, голова несколько дней, да и прошло...

И победила женщина в войне с властью, которая уготовила семье верную гибель. Выжила и детей ни одного не потеряла. Отец с ней встречался в 1973 году, когда в первый раз ездил на родину. В 1981-м мы застали Анну Павловну уже в беспомощности, не узнала нас. А муж её Дмитрий Кузнецов осел в Драгоценке и женился на Аполлинару Ивановне. Я уже не один раз упоминал эту волевою женщину, мужа которой в Тыныхэ каратели расстреляли в 1929-м. С дядей Кешей Аполлинария Ивановна разошлась и сошлась с Кузнецовым.

Кузнецова в 1945-м СМЕРШ забрал, как «тридцатника», так именовали чекисты тех, кто перебежал в коллективизацию, в тридцатые годы, в Маньчжурию. И вот тоже судьба. Отсидел одиннадцать лет, нашёл бывшую семью... И Анна Павловна приняла его. Знала, что был женат в Трёхречье, но простила... Сама больше замуж не выходила. Судьба с этой семьёй распорядилась так, что дала им в молодости десять совместных лет, затем рок в лице советской власти разбросал на двадцать четыре года, но всё же закончили жизнь рядом. Двадцать лет им было ещё подарено. Анна Павловна досмотрела мужа, он обезножил за год до смерти, а в 1975-м похоронила... Внуки их живут в Забайкалье, приглашают

меня в гости...

– Какими извергами надо быть – женщину с детьми на улицу выгнать! – пытался достучаться до Ивана Ганя. – Даже самовар забрали. Подыхай вместе с детьми, не достойна ты самовара! Как мог твой отец вытерпеть такое?! Ты должен гордиться им! Это герой, не побоялся, заведомо зная – проиграл, подняться на это зверьё! Чтоб знали – не все шею под их ярмо подставят!

Ганя пытался объяснить, что сунься дядя Сеня из Драгоценки в Кузнецово, махом бы скрутили. Чекисты мечтали об этом, ждали его. Дядя Сеня знал: детей его взяли старшие братья. И надеялся, поутихнет-поуляжется, тогда постарается забрать их.

– А мы побирались, – упрямо обвинял отца Иван, – я всю жизнь ношу клеймо сына белогвардейца. Враг он! Враг!

– Он был настоящим казаком, настоящим русским, почище тебя – коммуниста!

– Я воевал, а он, поди, мечтал, чтобы Советский Союз лёг под немца!

– Не ври, если не знаешь! Не наговаривай на отца! – возмутился Ганя.

И рассказал, как они в сорок втором году в Драгоценке с братом Афанасием поправляли заплот в ограде и судачили: победят советские немца или нет! Тут дядя Сеня подходит. Афанасий спросил мнение дяди: одолеет немец или кишка тонка? Дядя и говорит:

– Я пусть немного, но повоевал у атамана Семёнова. Красные такие же русские! И умеют драться! Мы раз схлестнулись с отрядом Метелицы, забайкальский казак, есаулом был в Первую мировую. Да к красным подался. Еле ноги унесли от него. Убеждён, Россия обязательно победит!

Ганя Ивану тычет пальцем в лицо:

– И это отец твой! Враг народа по советскому определению! Да будь он врагом, разве так бы сказал?!

Клеймо «сына белогвардейца» не помешало Ивану служить на то время в милиции, а сразу после войны был старшиной в войсках НКВД, охранял заключённых. Стычка с Ганей у них получилась бескомпромиссной. Ганя крыл на чём свет стоит коммунистов-революционеров.

Он часто сокрушался, подвыпив:

– Ну почему Семёнов не расстрелял Ленина в семнадцатом!

В лагере от семёновцев из Харбина слышал, что его боевой атаман, оваянный славой героя Первой мировой войны, летом 1917-го прибыл в Петроград, полный решимости скрутить голову назревающей революции. Наделённый полномочиями Временного правительства, изучил документы Генерального штаба и следователей Временного правительства по факту попытки неудавшегося июльского переворота, затеянного большевиками. И выяснил, что Совдеп, куда ни плюнь, состоит из дезертиров и уголовников, освобождённых Февральской революцией. Пришёл к выводу, что к

власти рвутся подонки-инородцы, у которых ничего святого за душой. И предложил полковнику Муравьёву, тот занимался организацией Добровольческой армии, уничтожить это антироссийское кубло. Срубить голову системе разложения и предательства, внедряемой слетевшимися из-за рубежа на запах русской крови «специалистами».

План Семёнова был прост, как выстрел: силами курсантов двух военных училищ сделать переворот. Молниеносно занять Таврический дворец, арестовать Ленина и Петроградский совет. И всю эту шайку кайзеровских шпионов и заговорщиков, поддерживаемых американскими ненавистниками России, на месте расстрелять. В одночасье уничтожить осиное гнездо. Власть передать Верховному главнокомандующему генералу Брусилову. И ни в коем случае раньше времени Главковерха не посвящать в тему переворота. Поставить перед свершившимся фактом.

Семёнов, который однажды на германском фронте с полусотней казаков пошёл на сотню прусских улан, элиту немецкой кавалерии, и вырубил всю, без сомнения снёс бы лысую голову вдохновителя революции... Сколько раз он совершал бесстрашные рейды по тылам противника. Был георгиевским кавалером, награждался Золотым Георгиевским оружием. Победный командир, удача любила его.

Муравьёв от дерзкого предложения завибрировал, замандражировал, побоялся за свои погоны и доложил о замысле лихого атамана Брусилову, тот тоже испугался, не зря

потом служил в Красной армии.

– Задуши Семёнов эту нечисть, и всё бы пошло по-другому в России, и у нас с тобой! – сжимал кулаки Ганя.

Про Ивана говорил:

– Ладно, служил он вертухаем! Там тоже были нормальные мужики. Но нельзя быть таким непроходимым, нельзя так слепо верить пропаганде.

Иногда беру грех на душу. Вспоминаю Ивана, и вдруг мелькнёт чёрная мыслишка: ведь в его словах: «Я бы своими руками застрелил отца!» – не только перехлест эмоций, была в Иване слепая безжалостность...

Поведал однажды в откровенном разговоре, как служил в милиции и убил парня. Ситуация была не экстремальная, но он обозлился (пьяный оскорбил его), кровь ударила в голову, Иван выхватил пистолет и всадил безоружному пулю в лоб. Долго таскали, но обошлось – не посадили, понизили в звании, отправили на низовую работу – в вытрезвитель.

Отец мой в тот самый первый приезд Ивана, когда пришлось разнимать его с Ганей, тоже вёл с ним идеологические беседы, говорил о православии, Гражданской войне, коллективизации... На своего дядю Иван, конечно, с кулаками не кидался...

В мае 1990 года я напросился в командировку в Ростов-на-Дону. Хотел братьев-фронтовиков повидать. Сначала заехал в станицу Казанскую к Василию Семёновичу. Потом поехал в Таганрог Ивану Семёновичу. Время многое пе-

ремололо, Иван уже не был рьяным коммунистом, благодарил моего отца:

– Спасибо дядюшке Ефиму, что нашёл меня, свёл с братом и сестрой, Гошей и Анной, со всеми родственниками. Вон их, оказывается, сколько.

Каялся:

– Во многом дядюшка и Ганя были правы. Ты, Павлик, Гане-то передай, пусть не обижается на меня.

Тогда Иван разоткровенничался:

– Никогда никому не говорил, а тебе расскажу...

Он служил в тюрьме НКВД. На его глазах офицеры, хорошо подвыпив, выгнали зека во внутренний дворик тюрьмы и забавы ради, лихость показать да покрасоваться друг перед другом мастерством владения кавалеристским оружием – в две шашки изрубили «врага народа».

В тот раз у нас с Иваном была последняя встреча. Как он растрогался, когда через пять лет я на 50-летие Победы послал ему немного денег. Годы были трудные, голодные, но я выкроил денег и отправил брату-фронтовику. Иван всегда, как ни позвоню, приглашал в гости. Не забывал поздравлять с днём рождения.

А впервые к нему в Таганрог я съездил в 1978-м, отец попросил:

– Павлик, поедем на Дон.

Один уже боялся. По пути завернули в Белгород, где жил наш земляк из Драгоценки, отца старший товарищ Анфир

Деревцов. Ему было уже восемьдесят, болел, сам грузный, ходил с натугой. За столом дядя Анфир рассказал историю из Гражданской. Отец попросил, наверное, чтобы я услышал, он-то знал. Воевал Деревцов на стороне белых в казачьей бригаде. Однажды попал он в плен к красным с целой группой казаков...

—Пригнали нас к железной дороге, в товарном вагоне закрыли, повезли, — рассказывал дядя Анфир. — На какой-то станции заскакивают три дюжих хлопца. А нас как сельдей в бочке набито. И стали хватать по одному и швырять в раскрытые двери. Двое швыряют, третий в папаче с красной лентой, коренастый, мордатый в вагоне сбоку от входа стоит, в руке нагайка, и командует: «Выбрасывай!» Внизу впри-тык к дверям стоят красноармейцы, штыками ощетинились, ждут наготове. И прямо на штыки летят казаки...

Карательные отряды, организованные по приказу атамана Семёнова, тоже зверствовали по всему Забайкалью. И тоже любили ловить безоружных красных партизан на штыки. Кто у кого перенял этот метод, трудно сказать... Но обе стороны им не брезговали... Пленные казаки, как рассказывал Деревцов, жмутся вглубь вагона, всем жить хочется. Красноармейцы одного за другим выдёргивают... Доходит очередь до дяди Анфира, и вдруг старший, который криком «выбрасывай!» отправлял на смерть, решительно отводит дядю Анфира рукой без нагайки себе за спину. Мордатый оказался земляком, родом были из одной станицы. Кажется из Шело-

пугинской.

Дядя Анфир после этого ещё шестьдесят лет прожил.

Больше не воевал, убежал от красных и белых за Аргунь. В Драгоценке у него родилось два сына и дочь. В казаках был ветфельдшером. Лошадей понимал, как никто другой. Сейчас сказали бы – диагност. И лекарь. Умел по ведомым только ему признакам распознать болезнь. Лошадь, раненная волком, обычно не выживала. Волчьи зубы, волчья слюна ядовиты. Дядя Анфир знал рецепт мази для таких ран. У отца была кобыла, звал её Кирики – родилась на праздник Кирики и Улиты. Бегала ещё жеребёнком, когда на табун волки напали, всю заднюю часть у Кирики отхватил волчара. Страшная, рваная рана. Думали всё – не жилец. Дядя Анфир выходил. Брал чагу – нарост с берёзы, молот её, жарил на подсолнечном масле, при этом какие-то соки выделяются из чаги, делал мазь и обрабатывал рану... Славная кобылка выросла. Я любил на ней ездить. Смирная, послушная.

Подворье Деревцова в Драгоценке зрительно хорошо помню. Вдоль рва японского гарнизона шла улица, её так и называли Гарнизонная, на ней стоял дом дяди Анфира.

Погостив два дня у него, мы поехали к Ивану. С Иваном в семьдесят первом, когда они сцепились с Ганей, я не виделся. В 1978-м в Таганроге впервые встретились. Зашёл к нему в дом, хороший каменный дом, под красной черепицей, чувствовалось – хозяин живёт... Первое, что бросилось в глаза, – на столе портрет Сталина. Выпили за встречу, я

повернул портрет к стене. И заговорили с братом о Сталине, Ленине. У Ивана грамотёшки-то четыре класса, воспитан системой, а я уже в ту пору кое-что знал кроме официальной пропаганды. Начал критиковать ленинизм со сталинизмом, троцкизмом и другими Свердловыми с Каменевыми... Смотрю, брат краской наливаются... Хватило у меня ума вовремя притормозить, не стал обострять разговор, первый раз у брата в гостях... Перешёл на тему Забайкалья...

С Василием мы не спорили. Он вообще по натуре отличался от Ивана, бесконфликтный, спокойный, отца никогда не обвинял в своём сиротстве. С интересом слушал рассказы о Драгоценке, отце, других родственниках. Тоже ведь ни о ком не знал и вдруг столько родных. Когда рассказывал ему о казацкой лихости, что демонстрировали на смотрах и скачках Прокопий, Ганя, он искренне восхищался, гордился братьями. Мы обменивались письмами. Я как-то написал, чтобы он сделал в КГБ запрос о реабилитации своего отца. Он поблагодарил меня:

– Спасибо, брат, что беспокоишься.

Ответ на его запрос пришёл совковый: «Такой в списках не значится». Отписались. Хорошо, меня послушалась дочь Василия Валентина, это уже во времена ФСБ, сделала запрос по поводу деда Семёна Фёдоровича. Я закрыл ещё одно белое пятно в родословной. Всё правильно, дядя Сеня умер до суда. Сначала ему предъявили обвинение по двум статьям 58–1а (измена родине) и 58–2 (вооружённое восстание), по-

том первую заменили на 58–11 (участие в контрреволюционной организации). Собственно, расстрелять могли по любой.

Я должен, должен как можно полнее написать о родных, эта мысль не даёт покоя. Что-то пытаюсь у братьев – Михаила и Афанасия – разузнать. Афанасий всегда на мои вопросы откликнулся, тут отправил ему письмо в Мичурино, раньше была Целиноградская, сейчас Акмолинская область, попросил рассказать о коллективизации в Трёхречье. Но понял, земное уходит от него, отболело. Переступил ту возрастную грань, когда нет желания ворошить прошлое. По телефону ему кричу, он плохо слышит:

– Ответь на мои вопросы. Ты письмо получил?

– Да.

– Ответь. Я там про Драгоценку спрашиваю.

– А зачем?

Всегда с удовольствием писал. Считал, раз брат спрашивает, значит, нужно. И вдруг интерес угас. Живёт со средней дочерью Людмилой, она директор школы.

Людмила родилась в Трёхречье. Тоже горе, сын Александр дружил с российской немкой. Та с родителями уезжает в Германию. И давай его сманивать к себе. Саша служил в казахском спецназе. Парень крепкий, развитый, не зря казахских кровей. Любил эту шалаву, не устоял, поехал в Германию. Сын родился. А девка-то оказалась распутной. Саша застаёт жену с хахалем. И ясно как белый день, кто в какой роли. Жестоко избил того. Метелил безжалостно, челюсть

сломал, рёбра, полуживым выкинул за дверь.

А парень-то кавказец, азер. У них и в Германии целая мафия. Саша позвонил Людмиле в Мичурино, в возбуждённом состоянии ляпнул:

– Мама, мне всё – капец! Извини.

Людмила ничего не поняла. А через неделю его убили. Из бани вышел с шурином, а ему нож в сердце. Шурина не тронули, Сашу одним ударом наповал. Привезли тело в Казахстан, в Мичурино похоронили. Поначалу версия среди родственников ходила, мол, за анекдот про кавказцев убили. Но в 2007-м я ездил на юбилей Людмилы, её зять, дочери сын, рассказал мне, как получилось.

Из-за подлюки такой парень жизнь положил. Она ещё и шестьсот тысяч евро получила. Саша был застрахован на шестьсот тысяч. Деньги немалые... Родителям Саши сноха выделила старую немецкую машинёшку – «опель». Отец сейчас садится за руль и вспоминает сына. Ни за понюшку табаку погиб мой племянник.

Крест

С двоюродным братом Петром, сыном Василия Фёдоровича Кокушина, моего родного дяди, мне мало удалось пообщаться. Пётр, получив тяжёлое ранение в живот в 1943-м, всю жизнь болел и умер рано. Похоронен на Дону, в станице Казанской. Сам дядя Вася в Первую мировую был казаком-батарейцем. Он 1890 года рождения, в 1911-м призвали на действительную службу, казаков с двадцати одного года мобилизовали. Срочную отслужил, потом три года воевал, в одном из боёв хлебнул химического оружия, попал под облако газа, что пустили немцы в сторону противника. Отравление спасло от мобилизации в Гражданскую войну. Пушечное мясо требовали и белые, и красные. Дядя Вася предъявлял полученный после госпиталя документ и тем, и другим. Ворчали, ругались, мужик-то внешне здоровый, но отвязывались. Казак дядя Вася был справный и крестьянин под стать. Когда братья в двадцатом решали, где жить дальше: в России или в Маньчжурию подаваться, дядя Вася остался и хозяйство вёл отменно. Такого не могли пропустить при раскулачивании... Конечно, свою роль сыграл факт, что брат Семён поднял восстание, и сам какое-никакое, а принимал участие... Фамилия Кокушиных после этого была у властей в особом «почёте».

Было у дяди Васи и жены его Афимьи Иннокентьевны,

в девичестве Чипизубовой, две дочери, Наталья и Фёкла, и сын Пётр. Отправили всех на север Томской области в урман, в болота для участия в эксперименте на выживание с заведомо известным ответом. Дочери и сам дядя Вася попали под требуемый ответ – погибли... Петру тринадцать лет исполнилось, когда их раскулачили. Дядя Вася сразу понял, не для жизни в урман привезли, благословил сына: «Петька, беги, может, хотя бы ты спасёшься». Петя рассказывал мне: когда бежал, в тайге с медведем нос к носу столкнулся:

– Малину ем и вдруг голову поднимаю – он метрах в десяти от меня. Замер, шелохнуться боюсь, твержу: «Матушка Богородица, спаси! Матушка Богородица, защити!» Топтыгин головой помотал и в чашу.

Петя из урмана к железной дороге вышел, по ней до Новосибирска благополучно добрался, но там не миновал сетей власти. Взяли беспризорного парня, что-то он наболтал в своё оправдание, его направили не обратно в болота, а в ФЗО – индустриализации требовались рабочие руки.

Отучившись, Пётр попал на завод, а как началась война, его мобилизовали. Оказался в Калининской области на Северо-Западном фронте, в обороне. Места гнилые, болотистые. Холод, жили в палатках, паёк скудный – постоянное чувство голода. Чуть потеплело – грязь, сырость. Крещение огнём состоялось в феврале. Накануне Дня Красной армии выдали по кусочку колбасы, хлеба. С предупреждением – без команды не есть. И вот движется взвод по лесной дороге,

и вдруг артобстрел, бойцы в беспорядке в разные стороны. Попадали на землю.

– Я, – рассказывал Пётр, – вытаскиваю колбасу и скорее в рот. Вокруг снаряды рвутся, а я жую, давлюсь. Жалко – убьют, и пропадёт такое богатство! Утром командир разрешил есть праздничное, а все его уже оприходовали!

В конце сорок третьего ранило в живот. Год мотался по госпиталям, а потом как негодного к строевой отправили в Таганрог на восстановление города. И женился на донской казачке. После войны разыскал мать, Афимья Иннокентьевна выжила в томских болотах, но мужа и дочерей, Наталью с Фёклой, похоронила там. Переехала в станицу Казанскую к Петру. Забайкальский казак поселился в станице донских казаков. С двоюродными братьями Василием Семёновичем и Иваном Семёновичем у него была переписка. Василий, демобилизовавшись после войны, прильнул к Петру. У них была давняя дружба. Когда дядя Сеня с отрядом повстанцев ушёл в Трёхречье, а жена его покончила с собой, Василия и Ивана взял к себе отец Петра, дядя Вася. И Пётр, как старший (он был с девятнадцатого года, Иван – с двадцать третьего, Василий – с двадцать четвёртого), опекал братьев.

Василий, демобилизовавшись в сорок восьмом, из покорённой Европы приехал к Петру в Казанскую. С намерением осесть там. Да не получилось вот так сразу – приехал и живи, с пропиской возникли трудности. Василий прибег к помощи Михаила Шолохова. Автор «Тихого Дона» был членом Вер-

ховного Совета СССР. Василий записался на приём к депутату, и Шолохов росчерком пера решил проблему в пользу фронтовика.

– Сам писатель Казанскую не любил, – поведал мне Петя, – мужики рассказывали: юный Шолохов в подразвёрстку приехал с продотрядом в Казанскую реквизируют излишки хлеба, на что казаки постановили выпороть ретивого чиновника новой власти. Стащили портки, и получил будущий гениальный писатель и лауреат Нобелевской премии нагайкой с десяток горяченьких...

Конечно, жители Казанской помнили это и в годы всемирной славы Шолохова.

Году в пятидесятом Иван Семёнович перебрался поближе к братьям в Таганрог. Ему, служащему органов, помощь Шолохова не понадобилась для прописки.

Мой отец впервые в 1960-м поехал к племянникам на Дон, гостил у Петра. Афимья Иннокентьевна болела уже, обезножила. Как-то подозвала к своей кровати:

– Ефимушка, на вот тебе крест, возьми. Эти антихристы выбросят ведь, когда умру.

И подала простой медный крест. Двадцать четыре сантиметра высотой, а в ширину по большой перекладине – пятнадцать сантиметров. Этим крестом мой дедушка Фёдор Иванович Кокушин и моя бабушка Агафья Максимовна благословляли сына Василия на венчание с девицей Афимьей.

Потом этим крестом отец и мама благословляли меня с

моей Любовью Васильевной в день свадьбы. Любушка тогда, конечно, атеистка была, отец офицер, но крещёная, бабушка в детстве покрестила. Мы сначала в Омске отгуляли, а потом поехали в Троебратное. Там по-казачьи свадьбу родители сделали. На станции нас на тройках встретили, и как полетели мы по селу... Целое действо. Перед тем как сесть за первый стол, отец с мамой отозвали нас с Любой в дальнюю комнату, где висела икона. Вижу, Люба напряжена, но не стала противиться, поцеловала крест, приняла благословение.

– Может, даст Бог, и повенчаетесь когда-нибудь... – вздохнула мама.

Через сорок лет повенчались...

Отец перед смертью вручил крест мне. Его (по семейному преданию) привёз из Санкт-Петербурга мой дед. В конце девятнадцатого века он, атаман станицы Краснояроро, сопровождал обоз с золотом, что переправляли в столицу Российской империи. Случилось это событие ещё до постройки Транссибирской железнодорожной магистрали, золото везли гужевым транспортом, казаки следовали в охране.

Я уже говорил о поездке с отцом в 1978-м в Казанскую и Таганрог. Тогда в разговоре с Иваном я упомянул про крест, который тётушка Афимья передала отцу. Иван признался, тётушка предлагала ему:

– Иван, возьми крест, эти антихристы, ни Петька, ни жена его Дарья, не верят ни во что.

Иван честно сказал:

– Да я, тётушка Афимья, такой же басурман, не возьму.

Детей у Петра не было. По какой причине – не знаю. С женой они любили праздники, чарки не пропускали. А у тёти Афимьи крест был самой большой ценностью.

Дочь дяди Сени от первой жены, сестра Ивана и Василия, Надя ради куска хлеба очень рано вышла замуж, да и вышла-то за китайца – Чау Тай. В 1981 году с отцом заезжали к ней в посёлок Хилок, тоже Читинская область. У меня в памяти картина: день был дождливым, да ближе к вечеру небо на востоке прояснилось, и такая Божья благодать вокруг – тепло, влажный, вкусный воздух, пахнет землёй, листвой... От станции идём, лужицы на дороге, телеграмму дали предварительно, Надя ждёт, на улице стоит, метров за сто от калитки своей, был ей тогда пятьдесят один год. Заплакала и сразу слова благодарности:

– Спасибо, дядя, что приехал, я хоть одного дядю увижу, всю жизнь сирота, без родни.

Я, наедине остались, спросил:

– Почему, Надя, вышла за китайца?

Он, кстати, фронтовик, воевал на Восточном фронте. Надя объяснила: замуж пошла совсем молоденькой, в семнадцать лет. Жила с ярлыком дочери врага народа, сирота, как-то надо устраиваться. Были чисто материальные соображения, а он участник войны, имел работу. И человек оказался хороший. У них два сына и две дочери. И что интересно: старший сын ни дать ни взять китаец, а младший – отец мой

как увидел, сразу отметил – многое от Семёна Фёдоровича взял. В дочерях азиатская кровь пересилила, больше китаянки, но милovidные мордашки...

Провалились земля и небо

На дядю Сению, Царствие ему Небесное, задним числом однажды накатило его соратник по восстанию Георгий Сапожников. В отряде повстанцев было четыре родных брата Сапожниковых: Тарас, Порфирий, Иван и Георгий. Георгий – младший из них, ему семнадцать лет исполнилось, когда с повстанцами оказался. Все осели в Драгоценке. Порфирий одно время был женат на сестре моей мамы Харитинье, тётке Ханочке. А с сыном Георгия – Павликом – мы в школе сидели за одной партой. По характеру Павлик, что Тёркин у Твардовского. Заводила, весельчак, как сейчас говорят: неисправимый позитив. За что ни брался, получалось на ура. В бабки ли играть, в лапту. Сам городки смастерит, ждать кого-то не будет. И постарается обязательно ладно да красиво сделать. В лапту играли самодельными мячами. Весной коровы линяют, шерсти коровьей набираешь, с мылом её намочишь и катаешь, катаешь. Потом даёшь высохнуть, а как высохнет, ещё один слой шерсти с мылом добавляешь... И так несколько раз... Внутри для тяжести можно положить какой-нибудь грузик. Получался вполне эластичный колобок. Пусть не так отскакивал, как резиновый мяч, но летел хорошо. И держалась долго шерсть... Битой как врежешь по нему – и ничего, на две-три игры хватало. Что хорошо – не травматичный. В игре всякое случалось. И в лоб прилетало, и по затылку...

У Сапога, так мы Павлика звали, всегда запас таких мячей имелся. Впрок понаделает... В бабки здорово играл. Однажды мне его битой прилетело по зубам... В марте перед Алексеевым днём, лет двенадцать мне было, поехал на ключ поить рабочих лошадей. Возвращаюсь, а ребята вышли в бабки играть. В первый раз в ту весну. Я быстро лошадей загнал во двор, маме ничего не сказал, не предупредил, что с ключа вернулся, схватил бабки... Успел на первый кон. Только-только круг начертили, мету провели, откуда бросать... Моя очередь подошла, я промазал, глазомер сбился за зиму, побежал за своей битой...

Что такое бабка? Суставная кость взрослого быка. Бита – особая бабка, свинцом залитая. Просверливаешь отверстие и заливаешь. Мужики тоже, бывало, катали бабки... Обязательно на интерес – выпивку или деньги. И не так, как мы... Шесть бабок в горсть мужик берёт, на ладони ставит, чтобы по три в два ряда, и кидает. У нас кон – это круг, а у них – черта. Бросают метров с трёх и надо, чтобы все бабки легли за черту. Одна сторона бабки чуть стачивается, если бабка ложится на неё – сак. Чем больше саков, тем больше вероятность выигрыша, а самый высший балл, когда бабка на попа встанет. Бросать надо с подкруткой, тогда бабки вращаются в полёте и точно ложатся...

Дети играли на бабки. Чертится круг, на ближний его край каждый играющий ставит по одной или две бабки (как уговоримся), задача – выбить больше с круга. Что выбил – твоё.

Я тогда промазал, побежал за битой. Сапог кричит:

– Павлик, отойди!

Я ему:

– Бей, отвернись!

Конец марта, земля мёрзлая, твёрдая, как камень, от неё бабка Сапога отрекошетила, может, на ледок попала и мне в зубы как шваркнет. Кровь водопадом. Домой прибегаю. Мама знает, что я лошадей поехал поить, думала, с лошади упал, разбился, бросилась ко мне:

– Ой, Господи, Павлик...

Два передних зуба сломаны, одни пеньки торчат. Сколько лет потом маялся, нерв оголился. То ничего, но вдруг, как начнёт ныть на холодное или горячее... А где лечить? Ни в Драгоценке зубного врача не было, ни в деревне на целине... Только перед армией вырвал и коронку поставил...

Казачата в играх развивали глазомер, меткость. Я был середнячком в бабках и в городках, но что удивило в армии: городские ребята (москвичи, ленинградцы), служил я под Калининградом, бросить гранату толком не могут. Я весил шестьдесят три килограмма, а дальше и метче всех бросал. Командир полка перед строем благодарность однажды объявил. Парни-то в части не дохлотики, кое-кто под сто килограммов весом, а не могли так бросить. Потом-то понял: я с шести лет эти навыки тренировал в играх... В 1961 году в городки в паре с замполитом подполковником Сокуриным заняли первое место в полку. Всех под орех несли... Грамо-

та по сей день за ту победу хранится...

Сенокосные угодья Сапожниковых были по соседству с нашими. Работали на покосе от зари до зари, но в Ильин день, второго августа, – праздник, никаких кос, грабель... Взрослые отправлялись на лошадях в Драгоценку, это вёрст тридцать от наших покосов. Парни торопились на вечерку – петь, плясать, зазноб своих обхаживать, а люди семейные своими компаниями собирались праздновать. Мы, ребятня, оставалась в таборе – рыбачили, играли. Сапог первенствовал в катанье на колесе конных грабель. Колесо металлическое, метра полтора в диаметре. Шины плоские, шириной сантиметров восемь. Руками, поднятыми вверх, берёшься за спицы, ноги на ширине плеч, и стоишь на внутренней поверхности колеса, товарищи впрягаются в оглобли и стараются побыстрее тебя катить. В середине шестидесятых был цветной документальный фильм о космонавтах Николаеве и Поповиче, их полёте в космос, подготовке... Одна из тренировок – вращение в вертикальной плоскости. Голова и ноги меняются местами в каждую секунду. Я сразу вспомнил покос. На конных граблях мы соревновались, кто дольше всех продержится, больше других сделает оборотов и не соскочит. Вестибулярный аппарат у Сапога был самым «космическим». Устанем катить, а он всё стоит...

Мать у него, сколько помню, богатырша. Грандиозная женщина. Никогда не забуду, как она в 1954 году в Хайларе, куда драгоценковские прибыли на вокзал ехать дальше в Со-

юз, сгружала с телеги сундуки с добром. Будто это сумочки дамские. Своего второго мужа Лосева отстранила мощным плечом и самое тяжёлое запросто снимала...

В Павлике тоже было силы немеряно. При росте метр семьдесят он в парнях килограммов восемьдесят весил. Сплошные мышцы. Да не увалень, который пока развернётся, день пройдёт. Как пустится в пляс – тонкий не угонится. И с гармошкой мог выскочить на круг, а уж без неё давал в пляске дрозда... И гармонист, каких больше не встречал... Что и сгубило мужика...

Отменный гармонист, просто вне конкуренции. Лапищи – две моих, но играл бесподобно. Бывает природой поставленный голос, а это Богом данная техника. Быстро освоил гармошку и выделял на клавиатуре... Говорил уже, звали мы его в детстве Сапог, на всю жизнь прилипло прозвище – и в Казахстане, и в Москве. Отца его СМЕРШ, подметая в сорок пятом мужиков Трёхречья, не пропустил, взял, как же – участник антисоветского восстания. Семья по приезде в Союз на целину, попала на юг Кустанайской области. Павлик окончил десятилетку и очень рано женился. Почему-то в армии не служил. Закружил голову гармонью, пляской, неиссякаемым оптимизмом и внешними данными дочери полковника, участника Великой Отечественной войны. Вскоре тот демобилизовался и уехал в Москву вместе с дочерью и зятем.

Я по молодости был у Павлика в гостях в Казахстане, потом в Москве, а последний раз мы с ним виделись в 1978-

м, я поехал в столицу в командировку, выделил день и нагрянул к нему. Мужик был ещё в соку – сороковник не разменял. Хотя размордел, округлился. Обнял меня в коридоре своими лапищами:

– Эх, провались земля и небо, я на кочке просижу! Молодец, паря, что пришёл!

Я бутылку принёс. Он поставил рюмки тонкого стекла – затейливый золотистый рисунок, изящные изгибы, да отнюдь не изящного объёма – в бутылке чуть на доньшке, граммов сто, осталось, когда Павлик разлил по первой.

– Я, тёзка, люблю, чтобы сразу достало! – сказал, чокаюсь. – Давай, земляк!

Опрокинул рюмашку-стакашку, бросил в рот кусочек колбасы, запылал, запылал щеками... И тут же нырнул в шкаф за новой бутылкой, бросив своё коронное:

– Провались земля и небо, я на кочке просижу!

Вижу, любит это дело. За разговором спрашиваю:

– Павлик, давно выпиваешь?

– Если, тёзка, брать двадцать последних лет, навряд ли день случился, чтобы не пропустил стакан-другой, хотя бы портвешки.

Работал шофёром, потом выгнали. Пришёл я к нему в будний день, дома никого, раза два ещё в магазин ходили, он на гармошке поиграл.

– Я, – смеётся, – уже с десятков гармоний изорвал. Играю, а мне ребята: «Сапог, как ты на кнопки попадаешь такими

ручищами?» Я ещё пуще выдам перебор, да в кураже рвану и... меха пополам!

Руки у него – быков с одного удара валить. Но пальцы, кстати, удивительно длинные. Не обрубки... Сказалось, что с детства на гармошке упражнялся.

Дальнего родственника Павлика японцы (работал он в администрации Трёхречья, в так называемой губернии, шофёром), унося ноги из Драгоценки, заставили бензин подвозить к зданиям, которые сжигали. Японцы ушли из Драгоценки с восьмого на девятое августа сорок пятого. А десятого вошёл СМЕРШ. Боёв не было, армейские части, перейдя Аргунь, южной степной окраиной Трёхречья, не встречая сопротивления, устремились мощной лавиной в сторону Хайлара. Японцы в Драгоценке знали день начала войны. Недавно прочитал: они забросили накануне конфликта за Аргунь группу разведчиков из русских белоказаков, те взяли языков (двух советских офицеров), притащили в Драгоценку, япошки под пытками вывели день наступления. Хотели напоследок собрать население Драгоценки в церкви, запереть и сжечь живьём. В посёлке на тот момент остались женщины, старики да дети малые. Время-то самое сенокосное, мужики сплошь на покосах. Один японец человеком оказался – сожительствовал с русской женщиной и предупредил через неё. Колокола ударили в набат, уже пулемётчики в ожидании рассредоточились вокруг церкви, да зря япошки злорадовались, никто не сорвался в церковь... Силком стогнать было

некогда, торопились ноги подобру-поздорову унести...

Я был в тот момент с мамой, Царствие ей Небесное, и младшими братишками... Запомнилось состояние тревожности. Горели казармы японского гарнизона, из нашего дома хорошо было видно, пылали здания полиции и жандармерии, гостиница для японских резидентов... Ночью мама увела нас на дальний край деревни к маминой бабушке, той было сто лет с хвостиком. У неё сидели, а над селом зарево...

Напоследок японцы спалили мост через Ган. Деревянный, как порох, вспыхнул. Родственник Павлика увозил на машине японцев со скарбом. В колонне машин десять было. Мост через Ган переехали, остановились, полили его бензином, подожгли и поехали дальше. Родственник сбежал при первой возможности. Дорога, по которой драпали, – одно название, на переправе через речушку две машины врюхались, в том числе и родственника, он под шумок удрал.

Вернулся в Драгоценку. Его тут же советская комендатура за жабры и заставила трофейные автомобили, брошенные японцами, привести в порядок. Родственник жил рядом с Сапожниковыми, и Павлик постоянно вокруг машины крутился. Как мы, его ровесники, завидовали, ведь он мог похвастаться:

– Дядя Толя дал мне порулить. Пусть на коленях у родственника сидел, а всё равно. Мы большинство раз у машине не катались...

Зажиточные жители Драгоценки в ту осень жертвовали

Советскому Союзу скот, продукты. Отец двадцать голов скота передал, муки мешков пять, зерна мешков десять... Одному офицеру подарил виктролу, так назывался в Маньчжурии патефон. Китайцы называли его «театра ящик». По цене виктрола равнялась хорошей корове.

Родственник Сапожниковых два месяца, до середины октября, возил продукты с японских складов (муку, масло подсолнечное и сливочное, крупу) в Союз. Павлик говорил потом:

– Дядя Толя, переправляясь с машиной на пароме через Аргунь, каждый раз боялся: вернётся ли обратно, не возьмут ли под арест.

Я проезжал через Москву в 1986-м, позвонил Павлику, жена подняла трубку: «Он в ЛТП». От алкоголизма лечился в так называемом лечебно-трудовом профилактории. А через пару лет узнаю: умер Павел Георгиевич. Здоровья Бог ему отмерил лет на девяносто, да водочка скovyрнула такого богатыря, до пятидесяти не дожил. Вот тебе, паря, и «провались земля и небо, я на кочке просижу».

В их семье было трое детей, когда его отца арестовали. Мать-богатырша года через два вышла замуж за учителя Лосева. У них родился совместный сын. Отец Павлика, Георгий Иванович, в 1957-м освобождается из лагеря, приезжает к ним в Казахстан, и Лосев вынужден был уйти. Надо отдать должное, Георгий Иванович воспитал неродного сына, дал образование, парень-то головастый оказался, окончил уни-

верситет, преподавал, защитил диссертацию...

В начале шестидесятых Георгий Иванович приезжал к моему отцу в Троебратное. Сапожниковы жили на юге Кустанайской области. Георгий Иванович на тот момент был при должности, третий человек в совхозе после директора и секретаря парткома – профсоюзный босс, председатель рабочкома. Для человека с грамотёшкой в пять классов и лагерем по политической статье, это была солидная высота. Совхоз целинный, передовой...

Выпивают с отцом, вспоминают Трёхречье. Георгий Иванович заявляет. Была у него к месту и не совсем присказка «я-то сказать». Для разгона мысли. Он и говорит:

Ефим Фёдорович, я-то сказать, кабы не твой брат с его восстанием, будь оно сто раз неладное, не поддайся тогда на эту дурь – обух плетью собрались мы перешибить, я-то сказать, стал бы в Союзе большим человеком!

Я был свидетелем разговора. Отец останавливает речь со-
слагательного наклонения:

– Гоша, не завирайся! Останься ты в России, вас бы точно раскулачили, и сгинул бы в тайге или болотах, а нет, так на войне погиб. Как ты думаешь, тебя, проходящего как «вражеский кулацкий элемент», куда сунули бы? В пехоту! А в ней жить целым не больше недели. Это раз, а во-вторых, кто тебя защитил от японцев, когда перед строем чуть башку не отрубили? Кто? Без башки тебе должность начальника рабочкома не дали бы!

Самое большое подразделение японцев в Трёхречье стояло в Драгоценке, название громкое – гарнизон, а по численности – рота. Ни танков, ни артиллерии. Я пацанёнком любил смотреть, как япошки маршировали, небольшие солдатики, а винтовка внушительная... Стоял гарнизон на возвышенности. От нашего дома с правой стороны пологая сопка, у её подножия облюбовали японцы площадь. Поставили казарму, ряд строений... А по периметру не забором огородились – рвом себя окопали. Вернее сказать, ровиком. До метра шириной, столько же в глубину. Больше от домашней живности преграда. Свиньи в Трёхречье ходили в режиме свободного выпаса. Хавронья Георгия Ивановича, будущего председателя рабочкома (а свинья, как известно, везде грязи найдёт на свою голову), захотела поковыряться на территории гарнизона. Мало ей было других мест, потянуло к оккупантам. Перебралась через ровик и не только поковырялась в земле, но и дриснула... Японец увидел такую непогоду на территории части, такое вопиющее непочтение к войскам императора, в гневе всадил штык в загривок непрощенной гостью, заколол, чтоб не шарилась и не гадила под носом у завоевателей. Сапожников на свою беду увидел акт уничтожения чушки. Ей месяца два до холодов нагуливать мясо и сало, а её убивают средь белого дня...

Георгий Иванович, человек не робкого десятка, побежал с претензиями к начальнику гарнизона:

– Я-то сказать, что это такое, ваш солдат порешил почём

зря мою свинью! Я-то сказать, глазами своими, как он вместо того, чтобы выгнать, штыком... Был бы забор у вас, другое дело, свинья, я-то сказать, откуда знает, что здесь запретная территория для гражданских!

Начальник гарнизона выслушал претензии Сапожникова, затем отдал приказ выстроить япошек на предмет опознания виновника в смерти домашней свиньи...

Происходило это году в сорок втором, дядя Сеня был поселковым атаманом в Драгоценке. Его, как местную власть, вызвали на следственный эксперимент. Начальник гарнизона говорит Сапожникову:

– Покажи, какой солдат.

Видеть его Сапожников видел в момент убивания живности, да не в упор, издалека, а попробуй узнай, когда япошки на физиономию для нас все одинаковые. Сапожников, «я-то сказать», тык-мык, в одну сторону прошёл вдоль строя, в другую... Не исключая, того японца могли умышленно не поставить в строй... Начальник гарнизона, видя тщетность поиска и отрицательный результат эксперимента, без суда по законам военного времени сам вынес приговор: за клевету на солдат Квантунской армии... И шашку наголо. Не стал даже спрашивать, как полагается перед казнью, последнего желания приговорённого...

Зарубил бы, да атаман, Семён Фёдорович, заступился, попросил не убивать опростоволосившегося станичника... Авторитет у дяди Сени был не только среди односельчан, но и

у японцев... Спас незадачливого товарища по восстанию...

Отец и напомнил Георгию Ивановичу об этом случае:

– Отлетела бы твоя башка, кабы не Семён. Так что, я-то сказать, не больно-то на моего брата бочку кати...

Смерть дяди Сени

Дядя Сеня однажды и моего отца спас. Отец всю жизнь носил усы. По обличью смахивал на Чапаева из кино. Сухой, жилистый, и усы... Рассказывал, когда в семьдесят третьем ездил в Кузнецово, где-то за Иркутском на станции вышел воздухом подышать, к нему бурят подходит и говорит:

– Товарищ, ты похож на Чапаева!

Отец не растерялся, с юмором у него всегда было на пять с плюсом.

– Так я ведь, – доложил, – брат Василия Ивановича!

А при японцах произошло следующее. Отец загулял с товарищами в китайской харчевне и, возвращаясь домой по темноте, нарвался на патруль. Шла война, японцы держали ситуацию в Драгоценке под повышенным контролем. Ночью комендантский час. Патруль тут же на улице устроил отцу экспресс-допрос на ломаном русском, кто он и откуда. Офицер, гонору у них было с верхом, оскорбительное бросил по поводу отцовских усов. Наподобие «таракан-усы». Отец на дыбы:

– Ты как с русским казаком разговариваешь?!

И, недолго думая, разжаловал япошку. Вцепился ему коршуном в погон. Сорвал. Если уж за свинью едва голову не отсекли Сапожникову, тут похуже проступок – покушение на честь офицера. Расстрел как минимум. Утром Семён Фё-

дорович пошёл к коменданту. Как уж откупились, не знаю, но освободили отца.

Отец, как и Митя, в подпитии не мог не поматерить коммунистов, Ленина – обязательно. Мать покойница, Царствие ей Небесное, переживала, когда родственники, земляки приезжали. Отец непременно поднимал тему губителей России. Мать боялась, как бы кто не сдал отца...

Дядя Сеня держал в Драгоценке мясной магазин. Сделал специальную пристройку к дому и торговал. В сорок пятом смершевцы, высшие чины – полковники, подполковники, майоры, частенько заходили к дяде Сене. Поил их, кормил. Не один раз офицеры убеждали: тебя, Семён Фёдорович, не тронем, не волнуйся, зачем ты нам нужен? Усыпляли бдительность. Уйди он в бега, может, и остался бы жить. Два месяца провёл в подвешенном состоянии...

На Покров, четырнадцатого октября, дядю Семёна вызвали в СМЕРШ, допросили (по материалам дела допрос проводил старший лейтенант А. Филимонов), а пятнадцатого – арестовали.

Помню, я с улицы прибежал домой, отец сидит, руки на стол положил, грудью на них лёг, голова опущена, поднял глаза на меня, посмотрел невидящим взглядом... Мать топчется у печки:

– Может, ещё выпустят Семёна, кого-то ведь выпускают.

Отец, всё так же глядя в стол, тяжело ответил:

– Его уж точно не выпустят.

Дядя Сеня прекрасно понимал: кому-кому, только не ему ждать пощады. В отличие от многих мужчин-трёхреченцев, которых, в общем-то, ни за что схватили и повезли в Советский Союз, для него там давно пуля была приготовлена, с тридцать первого года карательные органы держали в списках первейших врагов. Дядя Сеня решил не дать возможности чекистам позлорадствовать, поглумиться: «Ну что, казачок, попался! Как твоя бандитская верёвочка ни вилась, как ты ни прятался, да руки у нас длинные. Всё равно, белогвардейская сволочь, наша взяла!» Дядя Сеня придумал показать им большой кукиш. Он не согласился в раскулачиванье быть бараном, которого силком загоняют в стойло, и здесь сделал мужественный выбор. Даже его недолгий командир, легендарный атаман Георгий Семёнов, изменил себе на судилище, устроенном ему и его соратникам в Советском Союзе в августе 1946-го. Заслушав приговор «казнить через повешенье», этот неукротимый, вулканической энергии, недюжинного ума казак дрогнул (может, единственный раз в жизни) и попросил помилования у палачей. Получив отказ, ещё раз унизился – просьбой заменить повешенье расстрелом, что соответствовало бы чести русского офицера. И снова получил категорическое «нет». Перед повешеньем хотел исповедаться, причаститься (был атаман человеком истинно верующим, но, конечно же, знал, как относятся в Советском Союзе к церкви), на «приведите священника» в застенках ЧК раздался идиотский хохот и отборный мат.

Никто, само собой, не знает мыслей дяди Сени, с которыми ехал он арестантом в насквозь промёрзшем вагоне в Советский Союз, но, думаю, дядя принял именно такое решение. Почему так считаю? Отец рассказывал, дядя Сеня в десять лет заупрямился: не буду ходить в школу. Любил лошадей, охоту, по хозяйству не отлынивал от своих обязанностей, но в школу не хотел. Однажды возвращается с занятий и заявляет:

– Хватит! Писать, читать научился, не пойду больше!

Нет и всё! Отец взял в руки вожжи в ответ на категоричное заявление сына об окончании образования. Применил форму активного физического воздействия для прояснения разума. Тогда сын, настырности было не занимать, недолго думая, а конфликт вызрел суровой зимой, мягкие в Забайкалье редко случались, убежал на Газимур. Там расстегнул шубу и лёг голой грудью на лёд. С одной единственной целью – заболеть и по уважительной причине (тут вожжами ничего не сделаешь) прервать учебный год. Однако задуманное осуществить не удалось. Организм был настолько крепкий, что даже не закашлял. Упрямый казачонок грудью лёд плавил, пока кто-то из взрослых не увидел. Отец прознал, пообещал ещё вожжей добавить. Он и сам понимал, надо учить детей, да и от поселкового атамана хорошего не жди, если учительница пожалуется, что Семён Кокушин игнорирует школу. Пришлось продолжать обучение.

Когда арестованных СМЕРШем трёхреченцев в нояб-

ре-декабре сорок пятого переправляли в Советский Союз в телячьих вагонах, дядя Сеня по дороге жестоко обморозил ноги. Мой отец был уверен на сто процентов (его уверенность передалась мне), обморозил специально. Брат Ганя в лагере в Норильске встретил тех, с кем этапировали дядю Сеню, они ехали в одном вагоне. Рассказали: у него началась гангрена, ноги опухли. В Чите хотели ампутировать, дядя Сеня не дал согласия и от гангрены умер. Где-то закопали...

Мой двоюродный брат Артём Иванович, тот самый, которого чекисты подсылали в отряд повстанцев убить дядю Сеню, сгинул в лагерях. Его тоже в сорок пятом СМЕРШ арестовал, шёл по одному делу с дядей Сеней. Повстанцев брали в два захода, первую половину (десять человек) пятнадцатого октября, а вторую (девять) – двадцать седьмого. Артём Иванович попал во вторую волну. Это я в материалах дела прочитал.

Тоже возник вопрос – почему не забеспокоился Артём, другие казаки-повстанцы: целую группу их товарищей по восстанию в один заход арестовали, увезли в Хайлар. Почему не пустились после этого в бег? На что надеялись? Им всего-то несколько месяцев и понадобилось бы – уже в ноябре сорок пятого части Красной армии начали покидать Маньчжурию, а в первой половине сорок шестого их не осталось там вовсе, как и во всём Китае.

Отец говорил, Красную армию встретили с восторгом, уважением, восхищением – пришли победители, русские во-

ины, доказавшие свою силу, силу русского оружия в борьбе с сильнейшим врагом. Победили Германию, выгнали японцев из Китая.

Артём единственная ветвь нашего рода, чьи следы не удалось разыскать. Он родился в 1902 году, в Драгоценке у него была семья, жена, трое детей, тоже выехали в Россию на целину. И здесь затерялись... Ни отец мой не нашёл, ни я не смог...

С дядей Сеней Артёма везли в Союз в одном вагоне.

Не могу не рассказать ещё один случай, связанный со СМЕРШем. У Налётовых, Ивана Михайловича и моей тётушки Соломонида, в доме определился на постой майор СМЕРШа, некто Тищенко. Я говорил, что дом Налётовых был одним из самых заметных в Драгоценке. Большой, просторный, под железной крышей. Тищенко жил у них более трёх месяцев. Не просто жил и столовался, ещё и вёл предварительные допросы, вызываемых СМЕРШем трёхреченцев. Пока тепло было, вёл допросы на веранде, она метров двадцать площадью.

Рассказывала об этом дочь Налётовых Наталья Ивановна (та, которая в сорок седьмом вышла замуж за Петра Таскина и не захотела идти в колхоз и корову туда не отдала). Было ей в сорок пятом восемнадцать лет, показывала фото того времени – красавица. Она и в семьдесят выглядела царственно. Прямая в спине, статная, а уж в молодости... Русское открытое лицо, роскошная коса.

Тётушка Соломонида поварихой была у майора, готовила в зимовье, Наталья накрывала на стол в красной избе... Что называется, исполняла роль официантки. Время от времени майор по вечерам приглашал сослуживцев, они устраивали пирушки. Наталья подавала яства, следила за столом.

Рассказывала, что допросы Тищенко вёл жестко – кричал, матерился. Большинство из тех, кого вызывал, увозили в Хайлар с концами. В ноябре смершевцы засуетились, пошли разговоры о скором отъезде из Маньчжурии. Тётушка Соломонида оказалась невольной свидетельницей разговора, Тищенко своему сослуживцу говорил о том, что с делами надо срочно закругляться, командование торопит, скоро домой. И обронил фразу, дескать, эх, Наташку бы с собой увезти – больно уж хороша деваха. Тётушка взволновалась не на шутку: могут элементарно выкрасть, бояться смершевцам некого. Доложила супругу об угрозе, нависшей над их Наташей. И от греха подальше спланировали дочь к родственникам на другой конец Драгоценки. Что-то наплели Тищенко, объясняя отсутствие.

Ещё один интересный факт: перед самым отъездом Тищенко широким жестом избавил десятка два трёхречевцев от лагерей. Получилось так. Смершевцы уже сидели на чемоданах, торопились, Тищенко в тот день вызвал человек двадцать к себе. Собрались мужики во дворе Налётовых, курят в ожидании. Иван Михайлович и говорит Тищенко, чай они пили, майор обычно один по утрам чаёвничал, но изредка

приглашал хозяина дома за компанию. Налётов возьми и скажи. Ну что вы делаете? Вы же всех мужиков, кто во дворе ждёт своей участи, арестуете не сегодня-завтра. Так? Так. А у них у каждого семьи, дети, хозяйство. Как жёнам дальше мыкаться без кормильцев?

Тищенко посмотрел на Ивана Михайловича долгим взглядом, помрачнел лицом. Потом вдруг резко встал из-за стола, вышел на крыльцо и с матом отправил всех собравшихся домой. Мол, не нужны вы мне ни сегодня, ни завтра, дуйте до горы! Да побыстрее! Чтобы через минуту никого вас не видел. Что-то сдвинулось у него в душе.

Вскоре СМЕРШ и все остальные красноармейцы ушли из Драгоценки.

Не выдал кума

Выше говорил, повторю с большим удовольствием: у мамы, Царствие ей Небесное, хороший был слух и голос отменный, песен бесщётное множество знала. Женщины в Драгоценке, как морозы устоятся, долгими вечерами лепили пельмени... Заготавливали их кадками... Гости зимой к нам, бывало, придут, мама подаст ведро:

– Павлик, сходи в амбар, принеси пельменей.

В амбаре бочка литров на сто пятьдесят-двести и под самый верх заполнена пельменями, полведра набираю...

Раз в советское время на работе отмечали Первое мая, за столом рассказал, как жили в Трёхречье, про бочки с пельменями – не все поверили, брось, мол, Павел Ефимович, пули лить...

Лепить пельмени собирались родственницы, подруги, один вечер в одном доме, второй в другом... Лепят и поют... Мама красиво пела... Очень красиво... Талантливый был человек. А работы сколько переделала за свою жизнь! На десятерых хватит. Восемь человек детей вырастила, а родила четырнадцать. Трое умерли в младенчестве, трое – в дошкольном возрасте. Обшивала всю семью. Машинку «зингер» из Забайкалья привезла, всё шила на ней – от мелочи до шуб. Печь могла сложить, отец не умел и не брался. В Троебратном в обоих наших домах печи маминой работы, отец

на подхвате... Трубы печные сама ремонтировала. Лошадь запрячь, верхом проскакать, косить литовкой, жать, снопы вязать – всё умела... И пела...

Запомнился эпизод: студентом из Омска после сессии в конце июня приехал в Троебратное, на подходе к дому слышу – поют. Окно открыто, и плывёт в улицу:

По диким степям Забайкалья,
Где золото роют в горах,
Бродяга, судьбу проклиная,
Тащился с сумой на плечах...

Мама и Музурантов Кузьма Матвеевич – кум отца – поют. У Музурантова сильный тенор... Бывают в жизни моменты, отпечатываются в памяти до мельчайших подробностей. Настолько проникают в душу, стоит лишь тронуть и картина перед глазами... Летний день на закате, родительский дом и песня. Мама красивая в песне. Так-то красивая, а уж когда пела и вовсе внутренним светом преображалась. Повседневное уходило, отдалялось, высвечивалось глубинное, сердечное... Тогда ещё на здоровье не жаловалась. За столом сидят, у мамы на голове косынка, что я из Омска зимой в подарок привёз, отец голову склонил, молча качает в такт...

Отец был крёстным у младшего сына Кузьмы Матвеевича – Фёдора, тот тридцать шестого года рождения. Через год, как на свет Божий появился Федя, японцы бросили Музурантова в тюрьму. Отец говорил: по ошибке, думали, советский разведчик. Пытать они мастаки. Изрядно поиздевались,

привязывали за ноги к потолку, иголки под ногти загоняли, требовали назвать сообщников. Музурантов физически крепкий, ражий мужчина, да не выдержал...

Однажды, подвыпив, признался отцу... Освободился он в сорок пятом, как японцев прогнали... Посчастливилось, не убили япошки, убегая из Драгоценки, торопились. С отцом разоткровенничался за столом, рассказал: устав от пыток, хотел назвать сообщником его. Чуть не сорвалось с языка: «Кокушин Ефим Фёдорович». Но вспомнил: они кумовья. Жена Музурантова, Елизавета Васильевна, выпросила у японцев свидание и сообщила мужу: «Кум Кокушин хорошо помогает».

Детей у них было шестеро. Так получилось, мне хоронить Елизавету Васильевну пришлось. Но это уже другая история. Отец ей с сенокосом помогал, свиней, баранов резал... Где словом, где делом поддерживал. Жили по соседству. Отец не бросил товарища в беде... Слова жены о помощи кума сдержали наговор. Мог бы Музурантов порушить жизнь отцу.

Как порушил Ивану Банщикову, мужу моей тётушки по маминой линии – Харитиньи. Это был тот самый Иван Евдокимович Банщиков, который вместе с дядей Сеней был в повстанческом отряде. Вдвоём они командовали штурмом прииска «Воровская». Только уходили в Маньчжурию поврозь. Иван Банщиков на два месяца позже, отлежался в тайге, залечил рану и с группой казаков в шесть или семь человек проскочили кордоны пограничников и перебрались за

Аргунь. В Драгоценке Иван Евдокимович женился на моей тётушке Харитинье.

Музурантов назвал его своим сообщником по разведдеятельности в пользу Советского Союза, чтобы японцы хотя бы на время отвязались, перестали пытаться. С сыном Банщикова Сашей (что в Германии сейчас живёт, с которым мы залог поднимали в устье Барджаконки) я учился в одном классе. Японцев тот факт, что Иван Банщиков был в повстанческом отряде, а у чекистов на него давний зуб, не остановил. Наверное, посчитали: как хитро законспирировался советский разведчик. Арестовали, и с присущей им изобретательностью принялись пытаться и покалечили основательно... Банщиков не оговорил ни себя, ни кого другого, стойко выдержал мучения, в конце концов японцы отпустили его домой умирать. И всего-то месяца три после тюрьмы Иван Евдокимович прожил.

Японцы его в тридцать девятом арестовали, сын Саша только-только родился, грудничком был. Не везло моей тётушке в супружеской жизни. Первый муж, Антон Деревнин, молодым скончался, первенец родился – сын, и вскорости у Антона кровоизлияние в мозг, второго мужа – Банщикова – японцы замучили. Сошлась в 1941-м с Порфирием Сапожниковым, тоже из отряда дяди Сени, вместе бежали из Советского Союза и пришли в Драгоценку. У них родилось двое детей – Алексей и Валентина. Порфирия СМЕРШ в сорок пятом взял по делу о восстании, он отсидел десять лет,

потерял ногу в лагере, но почему-то тётушка Харитинья не приняла его после лагеря, умер под Карагандой. Вблизи тех мест, где лагерь отбывал. Может, тётушка привыкла за десять лет без мужа, возраст сказался. Что интересно, когда в пятьдесят четвёртом она с детьми оформлялась на целину в Советский Союз, все дети, все четверо, взяли фамилию первого её мужа – Деревнина. Хотя всего один был Деревнин, второй – Банщиков, а третий сын и единственная дочь – Сапожниковы.

Тётушку Харитинью мы звали тётушка Ханочка. Отец помогал её семье после ареста Порфирия. Зажиточность не породила в нём скопидомской страсти: набивай свои закрома, тащи всё под себя! Не скупился на поддержку нуждающихся станичников. Для меня он пример подобного бескорыстия. И я счастлив, что были у меня случаи, когда Бог надушил поступить вот так же. В 1971 году в Омск перевели служить офицера-танкиста Олега, сына маминого родного брата Ивана Петровича Патрина. Я говорил выше, что у забайкальцев в семьях случалось двух сыновей называть одинаковыми именами. У моего деда Петра Павловича Патрина был младший брат Пётр Павлович. И у отца Олега – Ивана Петровича – младший брат полный его тёзка, тоже Иван Петрович. Как водится, домашние звали его «Малый», дабы отличать от старшего и на зов одного не срывались оба. Малого Ивана Патрина я упоминал ранее в связи с трагедией в Тыныхэ. Он был женат в Драгоценке на Варваре Павлов-

не Баженовой, отца которой убили каратели в Тыныхэ, дядю задушили уздечкой, а брат Алёша лишился рассудка.

Олег окончил танковое училище в Казани, служил в группе войск в Германии, участвовал в августе 1968 года в событиях в Чехословакии. Едва не погиб. Чутьё ли спасло, или реакция боксёра выручила, а скорее – молитва матери хранила. Олег и двое солдат шли патрульной группой. «Время не ночное, сумерки, – описывал случай Олег, – но чехи рано спать ложатся. Улицы уже опустели. Как я его почувствовал?» Нападавший стоял в тени за деревом и как только патруль миновал его укрытие, сделал замах. «Я ничего не услышал, просто вдруг тревогой мысль: сзади опасность». Олег дёрнулся вперёд и в сторону, и страшный удар обрушился на плечо... Ломом целил народный мститель в голову... Фуражка навряд ли спасла бы офицера, не уклонись Олег... Отделался переломом ключицы... А чех, бросив ломик, пустился наутёк в проулок... Он прекрасно знал: советским стрелять строго запрещено...

Отлежавшись в госпитале, отдохнув в Гаграх, Олег попал в Германию, оттуда в 1972-м перевели в Омск, в часть, что в посёлке Светлый. Мы с Олегом с первой встречи в Омске душевно сблизились. Часто потом или он ко мне домой приезжал, или я к нему. С ним всегда праздник – солнечный был человек! Редкий рассказчик, немало повидал в жизни, юморист и пел под гитару. Мечтал: «Демобилизуюсь – никуда не поеду, обязательно здесь останусь». Нравился ему Омск,

Иртыш: «Вот бы квартиру где-нибудь на берегу и рядом с тобой...» Перед глазами первая наша встреча в Омске. Я как узнал – Олег в Светлом, так в ближайший выходной отправился в гости. Без всякого предупреждения. По адресу нашёл дом, обычный двухэтажный деревянный. Жена открыла, Олег был в части. Позвонила ему. В окно вижу – летит. Шинель расстёгнута, полы по сторонам от быстрой ходьбы... Голову поднял, меня в окне увидел, кулаки радостно сжал, лицо светится: «Брат! Павлик!» Забегает, обнялись. Восемнадцать лет не виделись...

В 1973 году у Олега родился сын, на это радостное событие к Олегу приехали родители – Иван Петрович с Анной Фёдоровной, её в нашей родне звали Нюрой.

Иван Петрович в белогвардейцах не состоял по причине малолетства, родился в 1910-м, но в сорок пятом его не миновали частые сети СМЕРШа. Уже было трое детей: Николай, Григорий, Олег. С четвёртым тётя Нюра ходила. С этой оравой она в пятьдесят четвёртом не раздумывая поехала в Союз. Не побоялась полной неизвестности, одна с четырьмя детьми, и никаких сведений – жив муж или давно сгинул... В Китае никто ничего не знал об участии арестованных СМЕРШем. Тётя Нюра, как только объявили о возможности переезда, начала собираться – там ведь муж. Попала в Кемеровскую область. Чуть обустроилась, сделала запрос в Москву, оттуда ответ с адресом лагеря, где отбывал срок по 58-й статье муж. Тётя Нюра, кроме листочка, на котором кратко

описала мужу десять лет вдовьей жизни, вложила в конверт фото детей. Пусть муж посмотрит и удостоверится – все их деточки в целости и сохранности, никого не потеряла. При оформлении документов для отъезда в Советский Союз требовалось фотография несовершеннолетних детей с родителями. Для идентификации на границе, что за дети едут при взрослых. Нет ли шпионского подвоха. Это фото отправила тётя Нюра мужу в лагерь.

Каторгу Иван Петрович отбывал, не дай Бог никому, в лагерях под Магаданом. На шахте. И вот однажды после ужина помбригадира выкрикнул: «Патрин, в оперчасть!» Дядя Ваня рассказывал: «Спрыгнул я с нар, фуфайку подхватил и голову ломаю: на кой понадобился куму? Прихожу, а тот начал о семейном положении расспрашивать». Зэк честно ответил, что семья-то как бы и есть, а как бы и непонятно. Ведь она будто на другой планете – за границей, в Китае. Дядя Ваня представления не имел о коренных изменениях в судьбах трёхреченцев, о движении «целинников», о массовой эмиграции из Маньчжурии в Союз... Опер протягивает фото и письмо жены: «Вот твоя семья»... Зэк, отсидевший почти десять лет в краю, где по статистике из сотни заключённых выживали единицы, упал в обморок от вида жены и почти на десять лет повзрослевших детей.

– В себя прихожу, – рассказывал, – уставился на фотокарточку, и тупая мысль ворочается: «Что за девочка?»

Наташа родилась через четыре месяца, как его арестова-

ли.

В пятьдесят шестом он освободился, и судьба подарила в сорок семь лет ещё одну дочь – Тамару. В Красноярске живёт. Двоих детей воспитала. Любил Иван Петрович свою «Томочку» – последыша, поскрёбыша... Жалел, муж непутёвый попался. Был директором школы, но спутался с молодой учительницей, бросил семью... А уж как жену дядя Ваня боготворил: «Аннушка моя, Нюрочка моя – золото, не женщина. Я-то в лагере чё – только за себя отвечал. Бывало, думаешь: скорей бы чё ли сдохнуть – не мучатся. А на ней четверо детей... Как бы тяжело ни было – тяни воз со всеми прицепами...»

Зёковская осторожность вошла в него намертво. В первых числах июня 1973-го утром в субботу сижу на кухне, пью чай, вдруг телефон затрезвонил, поднимаю трубку. В ней плотной скороговоркой:

– Павлик, здравствуй, это дядя Ваня Патрин, старший дядя Ваня, я тут с Нюрой к Олегу приехал, внука посмотреть. Жду тебя у магазина «Яблонька».

И – конец связи, слова не дал мне вставить. Накручиваю телефон Олега. Никто трубку не берёт. Делать нечего, бегу рысью к «Яблоньке», от меня ходьбы пять минут. Подхожу, дядя мой стоит и улыбается, солнышко да и только.

Оказывается, он, битый-перебитый зэк, тёртый лагерями калач, узнав от Олега, что тесть мой имеет отношение к органам, посеку в соответствии с формулой: бережёного Бог бе-

режёт, а ретивый сам наскочит – дабы не наскакивать, позвонил из телефонной будки и назначил встречу на нейтральной территории. Не захотел ко мне домой:

– Не-не-не, – упрямо отказался, – жизнь такая, вдруг тебя подведу.

Сели на автобус и поехали к Олегу в военный городок.

Я считал: дядя с тётей обязательно поедут к моим родителям в Троебратное. Ведь рядом, что тут от Омска ехать до Кургана, ночь переспать, а от Кургана всего ничего. Дядя Ваня, воссоединившись с семьёй после лагеря, к первым из родственников приехал к нам в Новосибирскую область на птицеферму. Прекрасно помню, как благодарил отца с матерью, что поддерживали его семью в Драгоценке. Отец, пока дети были маленькими, помогал с покосом, зерном обеспечивал. Мальчишки подросли, стал брать их на полевые работы, уже как бы зарабатывали сами...

И вдруг дядя Ваня мне говорит:

– Нет, Павлик, в этот раз не поедем к твоим в Троебратное.

Мы за столом сидели, чуток разгорячились после тостов «за встречу!», «за внука!». Я давай наседать:

– Как так, рядом и не съездить! Дядя Ваня, извини, не пойму вас! И отец с матерью не поймут. Вы ведь на пенсии, на работу не надо.

Он пытался отделаться отговорками, а потом наедине остались, честно признался:

– Денег нет, чё там эта пенсия.

Я не практиковал заначки от семейной кассы. Впервые пожалел об этом. Что делать? Знал, жена не поймёт моих родственных чувств с экономическо-альтруистической подоплёкой: семейный бюджет на тот момент свободными средствами не располагал. Тогда я втихушку запустил руку в НЗ, в котором хранились у нас облигации трёхпроцентного займа, вытащил парочку двадцатипятирублёвых и чуть не силком заставил дядю Ваню взять.

Получилось, они в последний раз повидались и с моими родителями, и с тётей Ханочкой, с другими родственниками и знакомыми трёхреченцами, кто жил в Троебратном. Более сорока лет греет мне душу тот порыв: вовремя сообразил и не пожалел денег, устроил им эту поездку. Дядя с тётей порадовались, и родители мои тоже.

Ни с кем из двоюродных братьев не был я так близок, как с Олегом. Умный, талантливый... Всех троих сыновей дяди Вани Бог щедро талантами одарил. Николай, мой ровесник, родился на Николу зимнего – девятнадцатого декабря. Окончил физкультурный факультет Красноярского пединститута, марафонец, мастер спорта по лёгкой атлетике и лыжам. Преподавал в техникуме в Абакане, дружил со знаменитым богатырём-борцом Иваном Ярыгиным. Ярыгин любил пельмени Николая. Тот делал по-патрински, мама так же стряпала. В фарш добавляется свежая капуста. В кипящую воду бросаешь её, и чуть-чуть надо подержать, несколько секунд, и

на дуршлаг, потом через мясорубку. Капуста придаёт фаршу мягкость. Николай, возможно, ещё какую-нибудь траву добавлял. Травник он отменный. Летом специально ходил в тайгу. Всегда один. Спрашиваю:

– Не опасно?

– Да я ведь, брат, знаю, как себя вести.

Отчаянный парильщик... Мы один раз с ним на семь часов зависли у него в техникуме в бане. В выходной день. Жёны прибежали, думали: не случилось ли что с мужиками. Особенно моя Любаша заволновалась, думала: вдруг загуляли и что-нибудь случилось в связи с этим – об печку ожог или сердце не выдержало, или угорели... Загулять было исключено. Я заикнулся Николаю – пивка прихватить, после парной освежиться, он обрубил, дескать, спиртное не входит в его банную церемонию, только настои трав. Он и без бани практически не пил, с одной рюмкой весь вечер. Каких только отваров и настоев не приготовил потчевать меня в бане: успокаивающие, тонизирующие. Целый набор настоев, чтобы на каменку плескать... Дух лесной в парной стоял... И волосы чем-то полоскали, и ванночку для ног специально для меня сделал – мозоль я в дороге набил новыми туфлями...

Средний сын дяди Вани – Григорий – пошёл по музыкальной части, профессионально играл на баяне, отлично пел. Олег тоже хорошо играл на гитаре, знал массу романсов. Как услышу: «Звёзды на небе, звёзды на море, звёзды и в сердце

моём...» – его вспоминаю. В том же 1973-м, в конце сентября, отец мой, возвращаясь из Забайкалья, заехал ко мне. А за два дня до этого в Омск прилетел Николай Патрин в командировку. Мы с ним и с Олегом отправились на вокзал. Отец увидел: «Ну, прямо три богатыря!» А мы действительно, в самом расцвете мужики – Олегу тридцать, нам с Николаем по тридцать четыре. У отца все котомки-сумки отобрали.

– Я с вами, братьями, – довольно заулыбался отец, – как барин!

Через два часа мы уже сидели в ресторане «Центральный». Гуляли широко. И стол по высшему разряду, и музыкой себя, какой душа желала, ублажали, Олег то и дело шёл к музыкантам с заказом. К концу вечера стал у них своим человеком, разрешили самому взять акустическую гитару, он запел:

Снился мне сад в подвенечном уборе,

В этом саду мы с тобою вдвоем.

Звезды на небе, звезды на море,

Звезды и в сердце моём...

Голос глубокий, бархатный баритон... Задумчивая гитара...

Тени ночные плывут на просторе,

Счастье и радость разлиты кругом.

Звёзды на небе, звёзды на море,

Звёзды и в сердце моём.

Отец потом много лет вспоминал, подшучивая над нашим

застольем, как в Омске в ресторане пил со звёздами «кондяк», заедал курицей «табак». Он настаивал, когда делали заказ, «Столичную» взять, но мы решили гулять так гулять, банальную водку и в будний день можно. «Кондяк» был молдавский, пятизвёздочный...

Вспоминаю родных, двоюродных братьев – многие были успешными спортсменами. Объяснение одно – казачья кровь, генная закладка. Олег был перворазрядником по боксу, волейболу, лёгкой атлетике. В военном училище всем занимался, всё легко давалось. Никого не боялся. С пол-оборота заводился на несправедливость, наглость. В автобус зашли однажды с ним, а на задней площадке хамло – через слово мат. Мужчина с женщиной, муж и жена, наверное, рядом стояли, мужчина сделал замечание. Дескать, придержи язык, не в лесу среди пней, женщины, дети едут. Тот в бутылку:

– Айда выйдем, очкарь! Что? Зассал? Так молчи в тряпочку, не мешай человеку разговаривать! То же мне – выискался хер четырёхглазый!

Автобус к остановке подкатывает. Я глазом не успел моргнуть, Олег, хоть и в форме, нырнул на заднюю площадку, сграбастал придурка за грудки, приподнял:

– Пошли-ка со мной выйдем!

И, не ожидая согласия, по воздуху вынес того из автобуса. Я еле успел следом выскочить. Их двое было. Парень не из слабаков, и кореш не хлюпик. Олег за будку остановки затащил это хамло:

– Ну, давай, лайся теперь, погань подзаборная!

Тот давай ерепениться:

– Да я тебя сейчас, кусок!

Олег коротко пробил левой в печень:

– Это тебе за «куска» от офицера!

Хам пополам сложился. Куда многословие девалось?

Морда скуксилась... Кореш даже не рыпнулся защищать:

– Ладно чё ты... Ну выпивши он.

Олег на прощанье придурка легонько пальцами в лоб ткнул, а у того ноги от апперкота ослабшие, он сразу на задницу и сел кулём...

К великому сожалению, любил Олег и такой вид «спорта», как литробол. Злоупотреблял водочкой. Как-то жена его Валя на работу мне звонит – запил. Я его крепко пропесочил. Каялся, божился:

– Брат, даю слово – завязываю!

И служба не заладилась, начальник стал гнобить, Олег нет бы сосредоточиться, выбрал выход попроще – начал закладывать... И достукался до суда офицерской чести... Уволили из армии... Он в два дня собрался и уехал из Омска. Передо мной стыдно было, поэтому, думаю, не предупредил, не попрощался... Звоню ему, а мне говорят: «Уехал». «Как уехал? Не может быть! Надолго?» – «Навсегда». С женой развёлся, женился на другой, сын родился, но болезненный – умер в десятилетнем возрасте от онкологии. Олег и сам рано ушёл, до пятидесяти не дотянул. Подался в нефтяники, в

Томской области жил. А умер в гараже, спустился в погреб... То ли с сердцем плохо стало, то ли от газов... Непонятно...

Дядя Ваня дожил до восьмидесяти шести лет. Я с ним последний раз встречался за два года до его смерти, в 1994-м. Советский зэк, отсидевший «десятку» в магаданских лагерях, ещё курил, две-три рюмочки мог пропустить, и все передние зубы собственные... Будь жизнь нормальной, такой организм лет сто бы отмахал без труда... Его бабушка по отцу, Марфа Игнатьевна, Царствие ей Небесное, в девичестве Осколкова, в сто три года ходила в церковь, сам видел, старенькая, ветхая, но придёт с палочкой, встанет в уголке... В Драгоценке упокоилась...

А незаконнорожденный сын дядя Вани – Патришонок (которого выше упоминал и которого Астаха Писарев вырастил) – погиб в начале шестидесятых годов в Казахстане в автомобильной катастрофе. С ним дядя Ваня не знался.

Иван Петрович Патрин – Малый Иван – отсидев срок по 58-й, жил сначала на станции Топки вместе с братом – Большим Иваном, потом у родной сестры (моей тёти Ханочки) в Пресногорьковской, а в начале восьмидесятых уехал в Австралию по вызову сына Владимира. Написал тому, что здоровье подводит и пора прибиваться к какому-то берегу... В Австралии, как я уже говорил, жена Варвара не приняла, отказала, хотя замуж ни в Драгоценке, ни в Австралии не вышла. Дядя Ваня у Владимира до смерти жил. Клятву, данную при венчании, жена не посчитала нужным сдержать...

Дочери говорила, дескать, я его никогда не любила. Хотя, как рассказывали, не любить такого было нельзя – первый парень на деревне. Высокий, статный, голубоглазый. Пел почти профессионально. Это уже не застольное пение под рюмочку... В репертуаре даже арии были из «Евгения Онегина», несколько японских песен исполнял... А как пел казачью «Конь боевой с походным выюком»!.. Это надо было слышать. Талант певца пусть не намного, да облегчил жизнь в лагере... Там организовывались концерты зэковской самодеятельности, что давало передышку в каторжном труде...

Посажённый отец

В сорок пятом СМЕРШ, войдя в Драгоценку, принялся всех мужчин Трёхречья просеивать, выявляя в первую голову тех, кто перешёл границу после Гражданской войны в возрасте совершеннолетия, кто воевал на стороне белых, кто из «тридцатников» – от коллективизации бежал в Трёхречье. Поселковым атаманам вручили тайные списки мужчин, которым не следовало отлучаться из деревень. Их вызывали, расспрашивали. Отец знал нескольких мужиков, тех, кто похитрее, они по-тихому смылись на период работы СМЕРШа на далёкие заимки. И отсиделись. Редко кого искали. Смершевцам хватало и без того человеческого материала. А эти, пока смершевцы не ушли, не появлялись в деревнях, тем и спаслись. Кто-то из мужиков погорел по своей наивности, генетической честности. О чём-то из своей биографии можно было умолчать. Они по простоте душевной – ум на уловки не изощрён – без утайки всё вываливали. Не могли предположить: расспросы ведутся неспроста, даже маленькая зацепка может привести к трагедии. Доверчиво отнеслись к заверениям смершевцев, дескать, простая формальность...

Как-то, я уже армию отслужил, собираюсь в клуб на танцы (у родителей в Троебратном жил), заходит мужик. Отец обрадовался:

– О, Иван Ильич! Проходи, дорогой гость.

На следующий день с отцом дрова пилим, он говорит:
– Вот судьба у человека.

И рассказал про Ивана Ильича Салохина, земляка-трёхреченца, в Казахстане он жил в деревне Белоглиновка Пресногорьковского района. Салохин из «тридцатников», ушёл в тридцать первом году в Трёхречье из Кузнецово. Не всем удавалось перевезти семью за Аргунь, а он ухитрился. Исключительной сметки был мужик. Как только СМЕРШ начал дёргать односельчан к себе, Салохин сделал для себя вывод: лучше подальше держаться от всяких проверок. И тайком улизнул на заимку. Скорее всего, отсиделся бы там. Да бес внедрил мысль сходить проведать жену, куревом заодно запасть. На одну ночь скрытно приехал, но тайное сделалось по доносу соседа явью. Тому не вовремя приспичило выйти до ветру и засёк, как Иван Ильич перемахнул забор и побежал через ограду к своему зимовью.

Оказался Салохин в лагере в Караганде. И задумал побег. У Солженицына в «Архипелаге ГУЛАГ» одна глава посвящена героическим попыткам зеков вырваться на волю: подковы на сотни метров за колючку делали, отчаянные прорывы устраивали. Но мало кому удавалось обрести свободу. Салохин подорвал из лагеря в 1948 году. Я не запомнил детально, но как-то он ухитрился в уголь зарыться и в полувагоне с шахты отбыл. Человеком был отчаянным, рискованным и сообразительным. Не скажу, в угле он до Борзи доехал или перебирался на другие товарняки... Главное, цели своей до-

бился... Салохин рассказывал:

– Еду, ночь кромешная, темнота чернющая, состав оставливается, слышу, кто-то кричит: «Да Борзя это! Борзя! Дыра засранная!» А я чуть в голос «ура» не закричал!

Родное Забайкалье! С превеликой осторожностью пробрался к границе... Перемахнул через Аргунь. И охранников лагеря с носом оставил, и пограничников, наших и китайских, вокруг пальца обвёл. Порубежье с Китаем на то время охранялось серьёзно, да отчаянный казак как никто знал особенности местности. Переплыл Аргунь, а тут уже, считай, дома. Вот и желанная Драгоценка. Сколько раз в лагере на нарах грезился этот райский уголок, самый для него прекрасный на всей земле. Мечтал о родном доме, детках, жене, работе в поле, охоте, рыбалке... Запомнилось мне, что страшно любил он рыбалку. С азартом рассказывал отцу, каких налимов на перемёт по весне ловил...

Возвращения к райской жизни не получилось. Передохнуть-то Салохин передохнул, с полмесяца пожил, а потом китайские власти перебежчика арестовали. И вернули в Советский Союз: ваш зэк, сами и разбирайтесь. Очутился Иван Ильич в том же лагере, откуда удрал.

– Боялся, – рассказывал, – охранники забьют до смерти. Нет, начальник лагеря вызвал к себе и с уважением говорит: «Хоть ты и Ванька, но башка у тебя – на троих ума хватит, ещё и четвёртому черпачок останется. Всех обдурил. Мы твоих земляков и знакомых перетрясли на десять рядов, и

никто ничего знать не знал».

Моего родного дядю Федю, Фёдора Фёдоровича Кокушина, Царствие ему Небесное, тоже вызывал СМЕРШ. Вполне могли загрести, воевал в Гражданскую на стороне белых. Он и на стороне красных отметился, но вначале с белыми был. Трудно сказать, почему СМЕРШ остался к нему равнодушен. К моему отцу практически не за что было докопаться: в Китае оказался несовершеннолетним, с японцами не сотрудничал, тогда как дядя Федю было за что привлечь. Не исключаю, спасло его то обстоятельство, что в отряде Лазо какое-то время воевал.

– Я им честно, – рассказывал о допросе смершевцев, – поведал, что сначала мобилизовали к Семёнову, а как разбили наш отряд, попал к Лазо.

Дядя Федя родился 5 мая 1894 года. Знал, что день этот особый в советском календаре, смеялся:

– Я, племяш, родился в один день с Карлом Марксом.

Кстати, дядя Федя из всех моих дядьёв первым узнал, что такое Трёхречье. В 1904 году на Забайкалье упала засуха, и мой дед Фёдор Иванович с сыном Федей в районе будущей Драгоценки косили сено и зимовали со скотом на заимке. С той самой поры падь, где стояла заимка, и ключ в ней (с вкуснющей водой) стали называться Кокушинскими, а речушка, из пади вытекающая, – Кокушихой.

Мой отец забрал дядю Федю, Царствие Небесное обоим, к себе в Троебратное, когда я уже в Омске учился. Каникулы,

как правило, проводил у родителей и частенько беседовал с дядей Федей. Грамотёшки у него практически никакой, не учился ни дня, только считать умел, расписываясь, закорючку ставил, но пользовался уважением среди станичников, даже избирался поселковым атаманом Драгоценки. По наследству досталась мне его печать атаманская из слоновой кости. Даже две. На одной по-русски «Ф. Кокушин» вырезано. На другой – иероглифы в два ряда. В конце восьмидесятых я попросил перевести надпись одному знатоку китайского. Оказывается, по-китайски вырезана фамилия – «Кокушин». У дяди Феде были наследники – внуки. Но поскольку он перед смертью у отца нашёл приют, ему передал печать, семейные фотографии. А отец перед смертью – всё это мне вручил.

Как-то спрашиваю:

– Дядя Федя, ты историю Лазо знаешь? Как кончил жизнь твой боевой командир? Кстати, сын бессарабского помещика...

– Откуда, Павлик, я ведь книг не читаю.

– В топке, – говорю, – японцы сожгли его.

– Так и надо картавому, зверь ещё тот был, любил отдавать приказы пленных казаков на штыки бросать.

В 1916-м дядю Федю мобилизовали и сразу на немецкий фронт. Участия в боевых действиях практически не принимал: «Я всего два раза в атаку ходил, а потом нас с фронта сняли». Что интересно, боялся крови. Бывает такое. Вырос в деревне, а не мог резать скотину. Есть люди природ-

ной интеллигентности, он именно такой казак-крестьянин. Никогда ни одного мата от него не слышал, выдержанный, рассудительный... По натуре мягкий, не любил скандалов... Никогда не напивался, совсем немного позволял себе. Пригубит рюмочку и всё. Отец мой тот-то мимо рта стакан не проносил, дядя Федя этой страсти не знал ни в молодости, ни позже.

На Пасху среди других развлечений для публики Драгоценки устраивалось соревнование, которое никогда в жизни нигде больше не видел и не слышал о подобном – на старт выходили жеребец-бегунец, понятно дело, с наездником и пеший спринтер. Дистанция, может, шагов сорок-пятьдесят. Одна особенность скачек-бегов человека и лошади – стартовали участники в разной ориентации в пространстве. Лошадь к трассе задом стояла на старте, а бегун – лицом. Задача последнего после команды «марш» максимально использовать фору: пробежать как можно дальше по дистанции, пока наездник разворачивает лошадь и пускает её в галоп. Дядя Федя и в сорок лет побеждал на этих соревнованиях. Сказывалось – не курил, не выпивал. На какой-то шаг, но первым пересекал финишную черту, не дав бегунцу времени разогнаться.

И прекрасно знал лошадей. Один из тех казаков в Драгоценке, кто славился умением ладить (готовить к скачкам) бегунца. Большим мастаком считался по подведению лошади к пику формы. Делалось это в течение недель двух. Обязатель-

но выверенный режим питания. Сено только первоклассное. В Трёхречье росла изумительная по кормовым качествам трава – острец. Наподобие пырея, но по высоте ниже, сантиметров шестьдесят-семьдесят. Листочки приметные, с голубизной. Сено вылежится в стогу, привезут зимой, и до того красивое – голубизной отдаёт. Лошади больше всего любили, когда в сене острец. Им кормили бегунцов перед скачками. Ну и овёс, само собой, в рационе... Вовремя накормить, вовремя выездку сделать, до пота прогнать, дать выстояться... Целая наука. А ещё дядя Федя считался специалистом на пуске. Зная норы, характер лошади, можно выиграть на старте несколько секунд, они на короткой дистанции порой решали всё.

И сыновья дяди Федя, Николай и Иннокентий, спортивными достижениями славились. Про Иннокентия уже говорил. Николаю в молодости мало было равных в Драгоценке по бегу на длинные дистанции – на пять и десять тысяч метров. На районных олимпиадах всегда среди победителей. А Иннокентий – спринтер... Оба унаследовали от отца гены бегуна, но лучше бы восприняли его сдержанность к спиртному...

К красным партизанам дядя Федя попал в девятнадцатом. Повоевал месяца два, и поручили пленного расстрелять. Проходили через деревню, один из местных вышел к командиру:

– Разрешите обратиться, у нас на чердаке вооружённый

беляк.

Белый сразу сдался, услышав «выходи, ты окружён!». Бросил сначала винтовку, затем слез.

Вечером отряд расположился на ночлег, часовых выставили, командир вызывает:

– Кокушин, тебе боевое задание – пленного пустить в рас-ход.

Дядя Федя повёл парня за пригорок. Молодой, лет двадцать. Напуганный, жалко смотреть. Наверное, хотел убежать от белых да угодил в полымя к красным. Губы беззвучно шевелятся, молился что ли. А темнело уже, конец сентября. Ушли подальше от отряда, дядя Федя парню говорит:

– Беги, вверх выстрелю.

Тот сначала попятился, боялся пули в спину, потом побежал и всё оглядывался, не игра ли в «кошки-мышки». Дядя Федя вернулся в отряд, доложил командиру:

– Задание выполнено.

– Не врешь? – почему-то спросил командир и нехорошо хихикнул.

Дядя Федя решил про себя: пора убегать. Подкормил своего Серка, а когда все уснули, вскочил в седло и был таков.

Отец с мамой венчались в Петров день в Драгоценке. Посажённым отцом с правой стороны от жениха сидел на свадьбе его родной брат Фёдор Фёдорович. Прошло ровно пятьдесят лет с того дня, и вот мы отмечаем родителям золотую свадьбу – и снова, как и двенадцатого июля 1925 года, по

правую сторону от отца дядя Федя. Старенький уже, рюмку нетвёрдо держит, но сподобил Бог братьев сидеть плечом к плечу в такой день... Только самых близких родственников собралось на той свадьбе более семидесяти человек... И со стороны Кокушиных, и со стороны Патриных...

Эпилог

На всю жизнь осталась в памяти картина: иду с уздечкой на солнцевосход по зелёному лугу. Минутами раньше отец потряс за плечо:

– Павлик, поднимайся! Пора! Пригони лошадей!

Я вылез из балагана, сунул ноги в ичиги. По-утреннему свежо, небо серенькое. Взял уздечку, удила холодные, с капельками влаги на металле, отполированном губами лошадей. Мне надо пройти луг, что широкой рекой по небольшому уклону стекает к берёзовой роще. Лошади пасутся где-то у дальнего края. На востоке назревает солнце, но ему не дают показаться в полную силу облака, нависли упрямым препятствием, будто хотят оставить утро блёклым, безрадостным, тусклым... И вдруг солнце вырвалось из плотной завесы, показалось золотым диском, и произошло чудо: луг засверкал, заиграл мириадами росинок. Каждая капелька воды вспыхнула, поймав яркий небесный свет, драгоценно преобразилась. Серебряными нитями повисли паутинки. Луг от края до края разноцветно запел, засверкал в лучах молодого солнца... Сердце возликовало – как хорошо на земле!..

Но через короткое мгновенье разом всё померкло. Сказка исчезла, словно ничего и не было. Алмазы росы превратились в капельки воды... Облако закрыло солнце...

Точно так же сверкнула в истории моего рода Драгоценка.

Словно решено было напоследок проверить казаков на живучесть. У меня по отцу пять родных дядьёв и тётушка Соломонида, по маме два дяди и тётя Ханочка, меня Бог одарил пятью родными братьями, двумя родными сестрами, а двоюродных братьев и сестёр более сорока: тридцать один – по линии отца, двенадцать – по материнской... Но чем дальше история рода, тем чаще мощные ветви генеалогического древа превращаются в веточки... Век раскидал нас по всей России, кого-то и того дальше закинул – в Австралию, Германию. За границей их потомки в конце концов утратят русскость, растворятся в интернациональном котле... Както прочитал: за двадцатый век исламский мир вырос на 800 процентов, Китай – на 300, Индия – на 400. Россия могла за это время стать солнечной православной планетой, сильной, уравновешивающей остальной мир... Не суждено... Богу почему-то не угодно было отвести от России революцию... Сегодня самая напряжённая из линий, разделяющих демографические ситуации планеты, проходит по Амуру и Аргуни. С одной стороны перенаселённая глыба Китая, с другой – пустынные просторы Дальнего Востока, Забайкалья, Сибири...

Каждое утро встаю перед иконами, медным крестом, доставшимся от деда и отца, и среди других молитв обязательно повторяю: «Спаси, Господи, и помилуй Россию нашу, власти и воинство ея, да тихое и безмолвное житие, поживем во всяком благочестии и чистоте». Помня и чтя завет отца,

держу весь род Кокушиных, род Патриных в голове, молюсь за всех вместе и каждого в отдельности.

И вскипают слёзы на сердце: увеличивается список «о упокоении»...

Крест для родителей

Повесть

Тяжёлый шестиконечный крест давил перекладиной в плечо, но Мария, как муравей, довольный удачной находкой, преодолевая неудобства, тащила добычу. По описанию Раисы Аввакумовны Мария живо представила крест, однако действительность превзошла ожидания. Выпиленный из куска белого мрамора, он был украшен резьбой. На лицевой поверхности рельефно выбит цветочный орнамент. Словно кружевной крест был положен на каменный.

«Одновременно и крест маме с папой, и неувядающие цветы...» – подумала Мария.

Она шла с необычной ношей по Большому проспекту, центральному в Харбине. Навстречу попадались одни китайцы. Русские за редким исключением покинули город. Кто отправился на так называемую целину в Советский Союз, кто за моря и океаны – в Австралию, Бразилию, Аргентину, Чили... Уехали поляки, евреи, украинцы, татары... Уехали друзья, соседи, знакомые. Она осталась из-за больных родителей...

Крест предложила пациентка больницы, в которой работала Мария, та самая Раиса Аввакумовна. Обширное православное кладбище, Новое или Успенское, в него упирал-

ся Большой проспект, китайцы вдруг решили снести. Как и православное Старое или Покровское на Большом проспекте в центре Харбина, как и еврейское, католическое. Новые хозяева Харбина, утверждаясь, стирали память основателей города.

У Раисы Аввакумовны на Успенском был похоронен муж. «Не буду переносить, – сказала она Марии. – Двадцать третий год Петя лежит, к чему тревожить кости? Да и какой смысл, детей у нас нет, уеду к сестре в Австралию, там и умру. Ну, перенесу, а китайцы опять что-нибудь придумают с новым кладбищем. Но крест им на поругание не оставлю. Куда-нибудь на мостовую пустят».

Так и получилось с бесхозными памятниками с Покровского и Успенского кладбищ. Их в основном пустили на облицовку дамбы, что возвели для защиты Харбина от Сунгари. На памяти Марии последнее крупное наводнение нагрязнуло три года назад, в 1956-м. Правый берег с городом тогда не тронуло, но поселениям на левом досталось. Китайцы, с ужасом вспоминая сумасшедшую Сунгари весной 1932 года, затопившую почти весь Харбин, решили обезопасить себя, в том числе с привлечением памятников с кладбищ.

В 2007 году омские харбинцы побывают в городе детства и юности. Одна из землячек возьмёт такси и поедет, как говорили харбинцы – «за Сунгари», на левый берег, но увидит на набережной в Затоне плиты от памятников с русскими фамилиями и поспешно развернёт такси обратно, боясь

найти родные имена. У неё на Успенском ещё до революции были похоронены бабушка и дедушка.

Раиса Аввакумовна – человек состоятельный – когда-то держала свой магазин, Мария столь дорогой крест не смогла бы купить. «Возьмите, Маша, для родителей», – предложила. Отдала бескорыстно и сама демонтировала с могилы. «Я, Маша, руководила установкой, мне и убирать».

Раиса Аввакумовна жила на Соборной улице, Мария пришла к ней под вечер, Раиса Аввакумовна, сдерживая слёзы, поцеловала крест, махнула рукой: «Забирай».

Мама Марии умерла в августе 1957-го. Тромбоз мозговых сосудов – инсульт. За две недели до этого Мария пришла от знакомой, та только-только вернулась из поездки в Советский Союз. Мария начала восторженно пересказывать услышанное: Кремль, Красная площадь, храм Василия Блаженного... Отец демонстративно заткнул пальцами уши. Он был категорически против отъезда в Советский Союз. Не раз сходились в горячих перебранках отец и дочка. Мария рвалась на родину. «Нет! – отказывался отец. – Не поеду! Ты нас там не прокормишь!» Он боялся умереть в дороге, боялся быть обузой, боялся тюрьмы. После продажи японцам в 1935-м Китайской Восточной железной дороги многие вернувшиеся на родину харбинцы попали в лагеря, были расстреляны. Мать металась между двух огней – мужем и дочкой. Харбин знал немало случаев, когда споры «куда ехать?» приводили к семейным скандалам, распрям, непримиримой вражде детей

и родителей, братьев и сестёр, мужей и жён, распались семьи, до самоубийств доходило. Мама Марии выступала миротворцем, примиряя мужа и дочь, вот и на этот раз попыталась сгладить ситуацию и вдруг повалилась со стула, слова сказать не может, тело заколодило...

Мария повезла её в больницу, где сама работала медсестрой, одну из последних русских в Харбине, имени Владимира Алексеевича Казем-Бека, что стояла в районе Модягоу на Бельгийкой улице. Доктор Казем-Бек – легенда Харбина. Умер в тридцать девять лет, заразившись, – высасывал через трубочку дифтеритные плёнки у девочки. Талантливый врач, редкой души человек. Посетив бедного больного, мог вместе с рецептом оставить деньги на лекарство. Многих лечил бесплатно. На пожертвования благодарных харбинцев после смерти доктора была построена больница, получившая его имя. Даже две – ещё одна в Казанско-Богородицком мужском монастыре в Гондательевке, что стоял на пересечении Крестовоздвиженской, Двинской и Антоновской улиц. Прах доктора и белого мрамора памятник харбинцы перенесут с Успенского кладбища за район Санкешу, где китайцы выделяют земли для русских покойников.

Земляки покажут Марии Никандровне фотографию его могилы. Большой светлого мрамора православный крест на мраморном постаменте. Портрет доктора, как и на соседних памятниках, кто-то выдрал, на его месте чёрное пятно необработанного мрамора. Металлические звенья оградки

вырваны из невысоких столбиков. Только с лицевой стороны не тронуты два звена, да на месте двустворчатая покорёженная калиточка. Надпись на памятнике выбита: «Докторъ Владимиръ Алексѣевичъ Каземъ-Бекъ». И годы жизни: «14.02.1892—4.08.1931». Глядя на фотографию, Мария Никандровна заметит, что мама умерла в один день с Казем-Бекком – 4 августа, ровно через двадцать шесть лет после него. Были они с одного года.

В больнице мама, парализованная на левую сторону, начала отходить, стала разговаривать. «Испугалась в один момент, – призналась дочери, – онемела, слова не могу сказать. Слава Богу, обошлось». Но это были её последние слова, случился ещё один инсульт, затем отёк лёгких...

Отец уже не вставал, жестоко мучила астма. С другом детства Олегом Кирсановым Мария привезла гроб с матерью в церковь на Успенское кладбище. Гроб встретил настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы отец Фотий – китаец из Пекинской духовной миссии. Русских священников почти не осталось в Харбине. Отец Фотий из южан, высокий, красивый, тонкие черты лица, Марии он казался похожим на Иисуса Христа. Маньчжурские китайцы низкорослые, невыразительные, южане (и мужчины, и женщины) другого типа. По-русски отец Фотий изъяснялся с трудом. Он отслужил литию, распорядился поставить гроб в холодное подвальное помещение храма и накрыть крышкой, вдруг мыши. На следующий день перед отпеванием гроб перенесли в церковь. В

тепле на лице покойной появились капли влаги.

«Будто пот выступил», – расскажет через пятьдесят лет в разговоре со мной Мария Никандровна.

Август стоял жаркий, как всегда дождливый. В день похорон небо с утра пухло грозой, отпевание отец Фотий начал с первыми ударами грома. Мария стояла со свечой, неотрывно смотрела в лицо матери, оно выглядело спокойным, даже умиротворённым, никаких следов мучений последних дней. Отец Фотий служил один, без диакона, певчих. Мария про себя молилась, чтобы прекратился дождь, он буйствовал за стенами храма, бил в окна, в ступени паперти, запах лада на смешивался с запахом ливня, который сквозняком приносило через открытые двери. Мария просила Господа Бога дать возможность похоронить маму без спешки, обязательной под проливным дождём. Ливень разом стих, как начали выносить гроб, туча ушла за Сунгари, небо очистилось, выглянуло солнце. «Спасибо, Господи», – заведённо повторяла Мария, следуя за гробом. Вместе с ней шли Олег Кирсанов, человек десять её сослуживцев из больницы... Луж на аллее не было, но вода на дне могилы стояла... Земля выглядела тяжёлой...

Через восемь месяцев разнесётся по Харбину слух о сносе Успенского кладбища, а потом последовало официальное заявление властей. Отец попросил: «Я, дочка, должен с Верочкой рядом лежать. Ничего мне больше не надо, перенеси мать на новое кладбище. Ты уедешь, мы с ней совсем одни

останемся здесь».

У пересечения Большого проспекта с Правленской улицей Мария переложила крест с одного плеча на другое, перевела дух. Бросила взгляд в сторону здания политехнического института. Не альма-матер, но два года занятия медтехникума проходили в политехническом.

Мама поначалу противилась медицинскому будущему дочери, как и отец. «Ты такая брезгливая, – убеждали родители, – а медицина это кровь, гной, горшки, стенания больных...»

Харбинский медтехникум брал начало с частной фельдшерско-акушерской школы, что принадлежала трём врачам: Успенскому, Линдеру, Сементовскому. Гинеколог Сергей Иванович Сементовский, распрощавшись с частной собственностью, продолжал преподавать в медтехникуме. Не отличался внешней привлекательностью: губастое лицо, нос не из маленьких, лохматые брови, рокочущий голос. Лекции читал с напором, не без медицинского цинизма. «Женщина должна быть всегда беременна, – вещал с кафедры, – если она не беременна, то плачет кровавыми слезами». Женился поздно, за сорок. Невесту нашёл поблизости – в медицине. Выбрал в хозяйки молодую хорошенькую акушерочку. Студенты-острословы не преминули откликнуться поэзией на знаменательное событие. Сергея Ивановича хорошо знали в Харбине – столько учащихся и пациентов прошло через его руки – «свадебный» стих тут же вылетел за стены техникума,

пошёл гулять по городу:

Серя Мэри полюбил,
Серя Мэри говорил:
«Мэри, хочешь быть за Серей?»»

Мария отучилась первый год, и мать принялась настаивать: «Маша, просись поработать на каникулах в больнице». После первого курса учебный процесс не предполагал практики с больными. Мать беспокоилась, вдруг брезгливая дочка разочаруется, столкнувшись с медициной не по учебникам. Лучше пусть как можно раньше произойдёт крушение романтических представлений. Мария напросилась в больницу имени Казем-Бека в родильное отделение, которым командовал Сементовский. Именно командовал. Всё в его епархии блестело чистотой, было выстирано, накрахмалено, проутюжено. Игра звукосочетаний в последней строчке вышеозвученного «свадебного» стиха не соответствовала реальной действительности.

Практиковаться в больницу Мария пришла вдвоём с подругой по медтехникуму Катей Ракиной. В самый первый день будущих фельдшериц-акушерок отправили на роды созерцателями: посмотрите, как дети являются на свет. Катя созерцала-созерцала и как стояла, так беззвучным столбиком грохнулась в обморок. Поймать не успели. На столе роженица лежит, на полу будущее медицины валяется. Тогда

как брезгливая Мария без всяких стрессов перенесла боевое крещение. На следующий день Сементовский призвал Марию-практикантку в ассистенты. Видит: робко стоит высокая, худенькая, с большими серыми глазами девушка. Скомандовал: «Ну-ка, марш мыть руки!» И посадил рядом с собой ассистировать при аборте. Манипулирует инструментом и объясняет: «Вот ручка, вот ножка...»

Мария принесла домой в носовом платочке кисть плода величиной с ноготь большого пальца, показала матери. Лишь после этого родители успокоились: «Значит, получится из тебя медик».

Из подружки Кати, несмотря на падение столбом при виде родов, тоже вышел хороший фельдшер... Как и Мария, она задержалась в Харбине, не уехала из Китая с общей волной. В последний год вместе работали в больнице фельдшерицами. Звали их китайцы – сёдайфо, то есть – маленький доктор. В конце рабочего дня на пару спускались в подвал в раздаточную – подкормиться. Здесь стояли вёдра с остатками супа – русского и китайского – готовили с учётом национальных пристрастий, что-то оставалось из второго, кисель... Девушки возьмут по пиалке, сядут перед вёдрами. Из одного зачерпнут, потом из другого...

Китаец-посудник – посуду мыл – заглянет, сказку расскажет жующим русским барышням: «Его ху (тигр), когда умирай, его самый-самый длинный усы-ы-ы выпадай и быстро-быстро-быстро (пальцами показывает) убегай! И кто его

догоняй-поймай – о-о-о! такой сильный бывай!» Сам китаец маленький, щедушный. Видимо, пока не удалось поймать шустрые усы для обретения богатырской силы.

Катя уехала из Харбина в 1958 году в Бразилию. Написала Марии оттуда о кардинальных переменах в личной жизни – вышла замуж за лейтенанта Красной армии. Он в сорок втором году под Харьковом попал в плен, три года провёл в немецких концлагерях, после войны решил не возвращаться домой. И под солнцем Бразилии встретил свою судьбу. «Приезжай, – звала подруга, – здесь много наших».

Марии было к кому ехать за океан. Дядя по отцу – дядя Гриша – жил в Сан-Франциско. О смерти матери Мария сообщила ему письмом, дядя сразу ответил и позвал к себе: «Ты, Маша, прости, но сама пишешь: отец сильно болеет, останешься одна – обязательно приезжай ко мне».

После смерти отца знакомая повела Марию к гадалке. Та определяла будущее по руке. На ладони Марии увидела следующее: если девушка отправится в заморские страны – всё будет хорошо, в Советском Союзе ждёт её одиночество. Забегая вперёд, следует сказать: неизвестно, как бы сложилось в Америке, в Омске Мария вышла замуж, кстати, за харбинца, на одиннадцать лет был старше, жили неплохо, вопреки далеко не сахарному характеру мужа, но было семье отпущено всего-то десять лет – супруг умер от инфаркта. И вот уже тридцать шесть лет Мария Никандровна одна.

Дядя Гриша писал из Сан-Франциско в Харбин: «Почти

склонил Анюту к переезду в США. Решайся и ты, Маша».

Тётя Аня жила в Японии, в городе Кобэ. Попастъ в США напрямую из Харбина – сел да поехал – не было возможности, только через третью страну. «Поезжай вначале в Кобе, – рисовал схему миграции дядя Гриша, – потом с Анютой ко мне». Тётя Аня прислала вызов в Японию. Но Мария хотела в Россию. В выпускном классе у них училось восемнадцать девчонок. Четверо уехали в Австралию, двое – в США, девять – в Россию. Мария стала десятой.

Они даже с Катей перед отъездом последней в Бразилию поссорились. «Как это ты едешь не в Россию?» – выговаривала подруге Мария. Она была в больнице секретарём ячейки Союза советской молодёжи, тридцать человек на учёте, и вдруг первая помощница Катя делает такой финт...

В гимназии, где училась Мария, русский язык и литературу преподавал Михаил Леонтьевич Корнелюк. Вылитый император Пётр I. Ростом пониже, но лицом... самую малость подгримировать и копия. Высокий, статный, крупная голова, крупные черты лица, поставленный актёрский голос, чистейший русский язык. Любил Тютчева, случалось, нападало вдохновение – читал его стихи весь урок. Этот огромный мужчина мог, смущая учеников, уронить слезу, говоря о России. В Москве у него были похоронены на Семёновском кладбище мать и отец. «Вы молодые, если попадёте в Россию, в Москву, поклонитесь моим родным». Как-то заговорил: «Почившие сродники – это наша опора, наша связь с

нечувственным миром. Они ушли, но они с нами, и мы с ними. Нельзя отрываться от родных могил, грех забывать их. “Любовь к отеческим гробам”, – не к слову, не ради рифмы написал поэт. Цицерон утверждал: мы должны защищать очаги, алтари и могилы предков».

Будучи в Москве в 1975 году, Мария захочет сходить на Семёновское кладбище. «Вдруг найду родных Михаила Леонтьевича». И узнает, что кладбище снесли.

Тётя Аня и дядя Гриша были очень дружны. Дядя в 1915 году приехал из Саратова на пограничную китайскую станцию Маньчжурия, что по соседству, через границу, с русской станцией Отпор (сейчас Забайкальск). Тётя Аня устремилась в Маньчжурию следом за любимым братом. Английского типа женщина. Высокая, стройная, энергичная. Ей было чуть больше двадцати, но уже побывала замужем. Выпускницу саратовской Мариинской гимназии, разносторонне одарённую красавицу – играла на фортепиано, пела – посватал пожилой богач-сибиряк из Томска. Отец Анюты, дедушка Марии, умер рано, семья скромного достатка, мать и тётя уговорили девушку дать согласие: «Будешь жить в своё удовольствие, не думать о куске хлеба».

Всё это имело место с лихвой, да всё хорошо редко сходится – не любила Аня мужа. Одинокó жила в Томске в богатом доме. Правда, недолго это продолжалось – замужество вышло скоротечным. Супруг умер, вместе с ним ушло беззаботное существование. В наследники купеческих мил-

лионов молодая вдова не попала, лишь вместительная шкапулка драгоценностей досталась на память о муже. Мария запомнила тётину брошку в виде павлина. Глазки – два рубина, брюшко – округлый опал цвета подмыленной воды, веер хвоста усыпан играющими на свету драгоценными камешками.

В Харбине тётя устроилась работать в управление железной дороги, и снова глаз на неё положил не простой смертный – красота притягивала – вышла замуж за главного контролёра дороги. Человек с большим достатком, прекрасная квартира в одноэтажном железнодорожном доме на Большом проспекте. Напротив дома была парикмахерская словака Егдича, куда мама Марии ходила завиваться, а отец – стричься. Муж тётки Ани имел свой выезд – пара вороных, кучер. И вообще был не прочь широко погулять: вино рекой, очаровательные женщины... Жена женой, да сколько прекрасного среди прекрасной части человечества в Харбине и на станциях подконтрольной ему КВЖД, а жизнь одна... Изменял супруге направо, сошёлся с певичкой из украинской оперетты. Пленила мужчину-сластёну хористка первой молодостью, юной свежестью.

Мария на всю жизнь невзлюбила имя Антон. Мужа тётки в глаза не видела, её и на свете ещё не было в период тёткиного замужества, мама рассказывала: «Сколько мучилась Анна, сколько перенервничала, проплакала в нашем доме от боли, стыда, и обиды! Однажды поздно вечером прибежала к нам

за помощью: “Антон забрал все мои драгоценности”».

Отец Марии взял револьвер. Он обожал оружие, любовно хранил дома шашку, револьвер, наган. Вообще был склонен к предметам барского обихода. Богатый письменный прибор, трость с искусной резьбой... Пришёл к непутёвому зятю, сел напротив него, положил перед собой на стол револьвер. Ничего хорошего не предвещающим тоном промолвил: «Антон, верни драгоценности, иначе я за себя не ручаюсь! Ты и без того поиздевался над Анной!» Получив обратно шкатулку с кольцами, колье, брошами и другими дорогими украшениями, тётя ушла от мужа. И уехала в Шанхай, где работала бонной у английского дипломата. Она прекрасно знала английский, французский, позже освоила азиатские языки – китайский и японский. «Жадные англичане, – делилась впечатлениями от работы у британцев, – богатые (у них и бонна, и повар, и бой-прислуга), а на обед сердце отварное и овощи отварные! Как можно изо дня в день есть морковку варёную?»

Наработавшись у скупых англосаксов, в конце двадцатых тётя перебралась в курортный Циндао, что на Жёлтом море. Держала полный пансион для отдыхающих. Комнаты, повар, горничная. Потом дядя Гриша уехал в Японию в Кобе и позвал сестру к себе. Дядя организовал контору по продаже садкового жемчуга, что выращивали предприимчивые японцы, заставляя моллюсков производить драгоценные шарики на коммерческую потребу.

Мария Никандровна показывала автору этого повествования нитку жемчуга, подаренного дядей, хорошо подобранный – большая жемчужина в середине ожерелья, дальше по нисходящей в обе стороны мельче и мельче. «Теперь только в руках подержать могу, – с печальной улыбкой посетовала Мария Никандровна, – шея раздалась – не сходится...»

Дядя Гриша не торопился с обретением семьи, всё невесту не мог подобрать, только в пятьдесят женился. На русской, моложе супруга на двадцать лет, что не помешало им обзавестись тремя детьми. Из Японии подались в Сан-Франциско, и там наконец-то, дядя бросил якорь. Был непоседой всю жизнь и всю жизнь мечтал, это повторял родителям Марии, это говорил ей: «Всем нам в конце-то концов надо собраться и жить рядом».

Воссоединиться родственникам не довелось. Мария уехала в Россию, в Омск. Тётя Аня в середине шестидесятых просилась к ней доживать. А куда было старушку брать? В маленьком домике свекрови на Северных улицах ютились втроём, свекровь тяжело болела.

Тётя Аня зимой внесла в комнату хибати с не прогоревшим углем. Хибати – передвижная печурка, у тёти она походила на ведро из чугуна, предназначалась для обогрева жилища, приготовления пищи. Вне дома протапливали японскую печурку древесным или прессованным углем, раздувая огонь веером... Тётя затащила хибати в помещение раньше времени (видимо, сильно замёрзла) и угорела насмерть. На-

шли: стояла на коленях, уткнувшись в кровать.

Тётю Мария помнит женщиной изысканной, аристократичной, утончённой. По Шанхаю она была знакома с еврейско-итальянцем инженером Джибелло-Сокко, мимо дома которого лежал путь Марии с крестом на плече. Этот дом знал весь Харбин, он стоял напротив Свято-Николаевского кафедрального собора и выделялся необычной архитектурой – в виде итальянской виллы и строился по проекту итальянского архитектора. Дом с садом окружал железобетонный забор. Тоже не абы какой: каждое звено – будто раскрытый веер с радиальными прорезями. И внешний вид дома говорил: здесь живёт богач с причудами, и интерьер, как рассказывала тётя, крикливо заявлял о себе. Тётя Аня приезжала в Харбин, когда Марии было восемь лет. На второй или третий день, нарядившись, отправилась к итальянцу в гости. Дом украшали дорогие картины, скульптуры, а на площадке лестницы, что вела на второй этаж, стояла замысловатой формы маленькая кушетка. В виде русалки. С одной стороны хвост для подлокотника загнут, с другой голова.

Тётин рассказ об этой кушетке Мария запомнила больше всего... Если ты устал, поднимаясь наверх, присядь, отдохни на туловище дивы водяного царства, а затем иди дальше. А дальше – больше. Лестница вела в обширную спальню, поражающую прежде всего стеклянным потолком. Лежи и любуйся звёздным небом. Джибелло-Сокко, был такой устойчивый слух, предпочитал наслаждаться видом созвездий ис-

ключительно на пару с блондинками. Имел слабость к данному типу женщин.

Мария как-то подумала: а ведь тётя тоже из блондинок...

У друга детства Марии – Олега Кирсанова, с которым хранила мать, была бонна. Отец Олега работал в иностранной страховой компании. Высокий, сухопарый. Олег таким же вырос. Мать служила в японском консульстве. Когда в августе 1945-го пришла Красная армия и в Харбине начались аресты, мать Олега приготовила «тревожный» чемоданчик, с парой белья и другими принадлежностями для тюрьмы. Поставила его у двери, чтобы не обременять энкаведэшников лишними ожиданиями. Придут, а у тебя всё готово. Ведите за решётку. Людей ни за что хватали, а она работала на врага. Но то ли японцы хорошо концы прятали, бесследно документы сожгли, то ли повезло – не тронули.

Жили Кирсановы в одном дворе с родителями Марии. В детстве Олег был настоящий ураган. Мог выскочить с молотком и остервенело громить цветочные горшки, что мама Марии выставила под окнами. В воинственном воображении Олега они являли образ врага, которого следовало уничтожить до последнего черепка. Порыв праведного гнева продолжался до той поры, пока не вмешивалась бонна Елизавета Михайловна, опрометчиво выпустившая джинна из-под своей опеки. Родителям Олега в бонны для своего чада следовало подобрать поприме́льнее особу – меньше горшков и окон пострадало бы от рвущейся наружу энергии переходно-

го возраста. Они взяли утончённую чешку. По-русски Елизавета Михайловна говорила прекрасно, хорошо знала английский, которому учила воспитанника в перерывах между его проказами. Манерная, молодящаяся дама. Олега просила обращаться к ней «тётя Лиза» – пусть окружающие думают, она не какая-то прислуга, а родная тётя. Вредный Олег не всегда подыгрывал милому обману бонны... Возрастом далеко за сорок, Елизавета Михайловна носила воздушные, летящие платья, да ещё с каким-нибудь бантом сзади на талии (наряд больше к лицу молоденькой барышне), в руке корзинка с рукоделием. Смеялась жеманно, прикрывая рот длинной узкой ладонью.

Как оказалось, за жеманностью скрывался тонкий расчёт – зубы у чешки были вставные. Эту деталь она тщательно скрывала. Выяснился изъян, когда однажды рано-рано утром случился в доме переполох, бонна выскочила в ночной рубашке на крыльцо... без зубов. Паника возникла оттого, что Олег наконец-то добрался до боевого арсенала отца – пистолета – и жажнул, выстрелил боевым патроном, пока все спали. Благо не в бонну метил, а в напольную вазу. Красилась Елизавета Михайловна под блондинку, лелеяла мечту очаровать Джибелло-Сокко, соблазнить богатея-ловеласа и смотреть на звёзды с позиции роскошной спальни. Гуляя с Олегом, обязательно водила воспитанника на Соборную площадь, они прохаживались вдоль затейливого забора, что окружал дом итальянца. И дождалась своего часа: в один

прекрасный день Джибелло-Сокко, выходя за ворота дома (они тоже отличались вычурностью – из металла, но ажурные, даже столбы с металлической вязью) итальянец бросил взгляд в сторону бонны и... восхитился: «Какой красивый мальчик!»

Блондинистость бонны, её платье с бантом не очаровали привередливого харбинского Дон Жуана. Потерпев сокрушительное поражение на сердечном фронте, чешка в 1939 году подалась в Америку – в Нью-Йорк. И не зря круто изменила географию. На берегах Гудзона счастливо угораздило дамочку попасть под автомобиль. Наезд окончился сломанной ногой и замужеством. За рулём авто сидел бывший офицер Белой армии. Как порядочный мужчина, он стал навещать по его вине травмированного пешехода и, в отличие от пресыщенного Джибелло-Сокко, увидел в чешке женщину...

У Марии бонны не было, папа приехал в Маньчжурию в 1914 году. Как раз накануне Первой мировой войны. Он поступил на работу на КВЖД на станцию Шуан-чен-пу, что в сорока минутах езды от Харбина. Мария Никандровна не один раз выскажет мне сожаление, что перед отбытием из Китая не съездила на эту станцию, не побродила по местам, где жили молодые родители. Китайцы так просто уже не выпускали из Харбина. В расчёт не бралось, что ты потомок основателей города. Сходи в департамент, закажи визу, через день получи, отметь её по приезду в пункт назначения, по-

том зафиксируй в Харбине факт возвращения. Не собралась Мария, поленилась...

«Знаете, я часто-часто мысленно бываю с родителями, – поделится со мной Мария Никандровна, – телевизор, конечно, смотрю, но вижу плохо. Ночами не спится, вот и улетаю в свой двор в Харбине к папе и маме... Поплачу, поговорю с ними, поброжу по улицам... Недавно земляки принесли журнал. В нём на всю страницу фото – Свято-Николаевский собор и окружающие его дома сняты в сороковые или пятидесятые годы, причём сверху, наверное, с самолёта... А от собора улицы в разные стороны... Сразу вспомнился эпизод: я была юной школьницей, может, первоклашкой, с папой подошли к собору, он говорит: “Это солнце Харбина”. Свято-Николаевский был построен из дерева в древнерусском стиле, с шатровыми перекрытиями. И огромный. Его рубили на Вологодчине, там искусно сделали резьбу... В 1899 году возвели храм на самом высоком месте строившегося Харбина. “Смотри, – начал объяснять папа, – ограда собора по кругу, вдоль неё дорога по кругу, и шесть улиц расходятся, как от солнышка, лучами”. Мы начали обходить храм по периметру забора, папа принялся называть улицы, створы которых поочерёдно открывались перед нами: Хорватовский или Вокзальный проспект, Николаевский переулок, Большой проспект, Старохарбинское шоссе, вторая часть Большого проспекта, Маньчжурский проспект... Запомнилось, папа сказал: святитель Николай Мерликийский – небесный

покровитель Харбина».

Отец Марии работал на станции Шуан-Чен-Пу весовщиком – взвешивал товарные вагоны. Служба, в общем-то, конторская. Он обладал даром изумительного почерка. Редкий каллиграф. За почти восьмидесятилетнюю жизнь Мария ничего подобного не встречала. По тем временам ценное качество. Когда родители приехали на дорогу, китайские мужчины ещё носили косичку. И законы в стране царили суровые. Доводилось родителям видеть отрубленные по решению суда головы. На дороге, соединяющей районы Харбина – Пристань и Новый город, через железнодорожные пути перебросили в 1904 году деревянный, покрытый деревянной мостовой конный виадук. В 1926-м дерево заменят на железобетон. И по сей день Конный виадук с его величественными фонарями по обеим сторонам исправно несёт дорожную службу в суперсовременном многомиллионном Харбине. Во времена деревянного виадука, как рассказывали Марии родители, на нём в специальной клетке выставлялись отрубленные китайские буйные головы, при каждой доска с иероглифами – за что отделена головушка палачом от туловища в назидание тем, у кого ещё покоится на плечах.

Платили на железной дороге поначалу золотом, сразу родителям предоставили жильё в Шуан-Чен-Пу – квартиру. Семь лет отец работал на этой станции, пока не заболел. Служба не от сих до сих, могли вызвать в любое время дня и ночи по прибытии вагонов с товаром. Ненормированность

рабочего дня подвела в конечном итоге. Выпил дома горячий кофе, взмок в тепле, ни раньше ни позже китаец-посыльный со станции летит: пришёл состав. Разгорячённым выскочил на мороз и схватил жестокое воспаление лёгких. Отвезли в Харбин в железнодорожную больницу. Пенициллина в ту пору не знала медицина. Спасая больного, ему два ребра отпилили, гной откачивая... Поправившись, отец ушёл с дороги, родители переехали в Харбин, где и родилась Мария.

В те далёкие времена преобладали мастера-каллиграфы (профессия была востребованной), что тяжелее ручки ничего не поднимали в своей жизни, с холёными, как у музыканта, пальцами. Но встречались с точностью до наоборот. Он потому и умеет выводить буквы красиво, что руки, к чему бы ни прикоснулись, – сделают картинку. Отец принадлежал ко вторым. Уйдя с дороги, открыл мастерскую с гальваническим уклоном. Лужение, никелирование, серебрение. В основном для ремонта самоваров. Нередко приходили харбинки, опечаленные до слёз. Поспешила она, и вот результат – сердце кровью обливается. Кабы не ротозейство, радовал бы красавец и дальше зеркальным блеском, занимая почётное место в доме. Сколько лет каждый вечер собирал вокруг себя душевный круг семейства, да в считанные минуты утратил зеркальный форс. Развела хозяйка огонь – торопясь чайку испить, – а воду в спешке, так жажда понукала, забыла налить. Носик отвалился, ручки безвольно повисли... Короче, наделала делов. Одна надежда на отца Марии. Новый са-

мовар покупать и дороже, и душа прикипела к старому. Мастер испорченный самовар разбирает, затем лудит, никелирует, припаивает детали. Двое рабочих помогли отцу в мастерской, пристроенной к их небольшому домику, что арендовали у генеральши Приставкиной.

Мария в детстве любила заглядывать в мастерскую, хотя отец не приветствовал: ни к чему дочке дышать химическими выделениями. Нравилось девчонке разглядывать самовары. Были в форме рюмки – стоит этаким фертом, гранями играет, встречались широкой вазой или шаром. Самая незатейливая форма – банкой. А самая замысловатая... Так устроен человек, в любом деле ему хочется что-нибудь вычурное сотворить. Мастера по самоварам не исключение. Редко, но приносили на починку самовары петухом. Кран в виде гордой петушиной головы, гребень – ручка крана, стоит на куриных, как у избушки Бабы-Яги, лапах, крылья сложены. Петухи-самовары были небольшие, литра на три.

В мастерской имелся горн, токарный станок. Принимались заказы на водопроводные работы, отец обзавёлся всем необходимым сантехническим инструментом. Целый набор вывесок призывно красовался на воротах дома. Но в один момент все были сняты, сиротливо осталась одна – «Точу коньки». Генеральша Приставкаина потребовала закрыть мастерскую, она получила предписание от властей: помещение не соответствует нормам эксплуатации подобного производства. Пришлось отцу пристройку, что сам возводил, сломать.

Через семьдесят с лишком лет после того случая Мария Никандровна скажет автору этого повествования: «Вдруг всплывает что-то давно забытое. На днях вспомнила: раздался требовательный стук, озабоченный отец вышел из дому, а вернулся с хохотом. Не может остановиться от веселья. В чём дело? Пузатенький незнакомый японец с портфелем, зубы вперёд торчат, потребовал: «Э-э-э, коньяк!» «Какой коньяк?» – отец понять ничего не может. Японец своё алко-гольное твердит: «Э-э-э, коньяк». Ясно, что самурая обурева-ет желание выпить, потешить душу крепким напитком, но почему сюда обращается с нуждой питейной? Японец сердит-ся, начал тыкать пальцем в ворота... Тут-то отец дога-дался, откуда японский «э-э-э коньяк» возник. Подвёл азиа-та вплотную к вывеске «Точу коньки», спросил: «И где ты здесь коньяк видишь?»»

Ещё один раз памятно военный японец к ним нагрянул, но уже другой, и не по зову вывески, а по зову сердца. Японцы в 1931 году вторглись в Северную Маньчжурию и в 1932-м оккупировали её. Рядом с домом родителей на углу Почто-вой и Больничной в доме в викторианском стиле находилась японская военная миссия, а на Стрелковой в двухэтажном особнячке – жандармерия. Когда-то в этом доме размещался роддом доктора Линдера, в нём родилась Мария. «Окна бы-ли плохо заделаны, – рассказывала ей мама, – страшно дуло. Я всё боялась – не заболела бы ты».

Когда в августе сорок пятого Красная армия выбила япон-

цев, из жандармерии выносили орудия пыток. Отец Марии присутствовал при данном акте. В подвале оккупанты оборудовали настоящие застенки. Если, к примеру, не сдал радио, как было всем гражданам строго-настрого предписано, а тебя застукали внимающим передачу из Советского Союза, хорошего не жди. Забирали радиослушателя вместе с приёмником, обратно могли отдать родственникам заколоченный гроб с категорическим наказом: немедленно везти на кладбище, при этом не разрешалось отпевать и гроб открывать, а также приглашать родственников на похороны. Бывало, выпускали из тюрьмы с азиатским тифом, который не поддавался лечению. Сделают прививку здоровому человеку, а он, выйдя «на свободу», вскорости умирал. Так поступили с товарищем отца, тоже мастеровым-умельцем – он тайком изготавливал радиоприёмники. Вёз в поезде сумку с радиодетальями и попался... Японцам везде мерещились советские шпионы. И каждый русский был потенциальным кандидатом на это звание. Отец среди орудий пыток каких только приспособлений не увидел, каких только «инструментов» колющих, режущих, сжимающих среди них не было, мороз по коже, как представишь себя в руках палача. Любопытная Мария сокрушалась – не удалось посмотреть, ворчала на отца – не позвал, посчитал, что ни к чему ей всякую жуть разглядывать.

Это случится в сорок пятом, а без малого за четыре года до этого – 7-го или 8-го декабря сорок первого японец,

интеллигентного вида офицер, нагрянул к ним с возгласом на плохом русском: «Победа!» Счастливый, и коробку кускового сахара ставит на стол – праздновать викторию. Что за победа? Отца дома не было. Мама растерялась. «Пёрл-Харбор! – говорит японец. – Победа!» Мама поставила самовар... К сахару японца добавила каких-то печенюшек, попили чай за полное уничтожение японской авиацией Тихоокеанского флота США. Родители потом предположили: возможно, не от избытка распиравших патриотических чувств японец визит совершил. Скорее всего, был из жандармерии и хотел посмотреть, какие чувства у русских воспылали в связи с блестящей операцией японского оружия.

В тот день слышалось победное оживление и в доме Ковальского, высокий забор которого граничил с их двором. Дом Ковальского – роскошный особняк с колоннами. Поляк Ковальский, взявшись за его строительство, вкладывал в проект всю душу и все средства и задался целью создать шедевр. Амбиции удовлетворил: возвёл оригинальный дом, но не удалось пожить в своём детище – не рассчитал финансовых силёнок и угодил в долговую яму. В этом доме, приезжая в Харбин, селился японский принц, члены императорской семьи. А потом другие победители – маршалы Малиновский и Василевский. Когда зимой сорок пятого Красная армия спешно покидала Харбин, из дома Ковальского вывезли всё: мебель, посуду, ковры, даже роскошный в кадке фикус, которому не суждено было попасть в Советский Со-

юз, при погрузке на харбинском вокзале замёрз в ожидании своей очереди. Потом Красная армия снова пришла в Харбин, её части эвакуировали в апреле сорок шестого из Чанчуня в Харбин. Но через полмесяца они покинули город.

Лишившись мастерской, отец распродал оборудование и в отсутствие, как сейчас вычурно говорят, жизненной мотивации, впал в депрессию, от которой прибегнул к известному способу самолечения – начал пить. «Может, императором стану!» – подмигивал дочери, открывая фигурную, книзу расширяющуюся, запечатанную сургучной печатью бутылку харбинской водки «Имперіаль» парового водочно-ликёрного завода Е. И. Никитиной (правда, на тот момент он уже принадлежал Бринерам). И пел песенку с рекламы водки: «Кого-то нет, кого-то жаль, «Имперіаль» умчит нас вдаль». Корону императорскую надеть не удавалось, хотя всё чаще и чаще «мчался вдаль» с «Евдокией Ивановной». Так тоже называли водку по имени и отчеству Никитиной. Мать поначалу увещеваниями пыталась бороться с имперскими замашками мужа, наконец, устала противостоять империализму домашними средствами, прихватив девятилетнюю Машу, пошла к доктору тибетской медицины Хвану, тот жил на Пристани.

«Доктор был монголоидного типа, – скажет мне, вспоминая этот эпизод Мария Никандровна, – дал маме какое-то снадобье, кажется порошок. Мама меня предупредила, чтобы я отцу о нашем визите к Хвану ни слова».

Мать тайком подсыпала порошок отцу в пищу, и курс лечения принёс желанный эффект. Отец унёс из дома всю питейную посуду, ни одной рюмки не оставил, ни одной пустой бутылки, дабы ничего не напоминало о кошмарных месяцах жизни. И больше спиртное в рот не брал. Немного подрабатывал коммерцией, продавая антиквариат и восстанавливая его. Скажем, у роскошного письменного прибора из малахита разболтался винт пресс-папье, поблекла, поцарапалась поверхность, откололся край одной из чернильниц. В комплекте их три – для красных, чёрных и синих чернил. Отец нарежет новую резьбу, где надо подклеит, прошпаклюет, отполирует, и снова богатый прибор готов украшать стол состоятельного человека.

Дочь отец баловал, как мог. Покупал изящные кровати для кукольного семейства, комодики с ящичками, шкафчики с зеркальцами, даже был детский рояль с крохотной клавиатурой – одним пальцем можно тренькать. И кукол – за неделю не переиграешь. Мария, сказывались гены путешественников (отец называл это «занозой в заднице Баранцевых»), что гнали их родню по свету, не наряжала кукол в платья. Постоянно кутала подопечных в тёплые одёжки, рано научилась рукодельничать со спицами и шерстью, вязала игрушечные кофточки, свитера, шапочки.

– Что ты охоботья на них напяливаешь? – улыбалась мать.

Мария готовила кукол не к легкомысленной прогулке, а к тяжёлой дороге.

«Я вырастала из кукол, всё реже тянуло в угол с игрушками, – вспоминала детство Мария Никандровна, – зато мама приняла эстафету. Не раз заставляла её играющей. Расставляет детскую мебель, рассаживает кукол, не в мои «охоботья» наряженных, а в платья. Будто девчужка малая, возится...»

«Живой образ мамы, – добавит, – стёрся из памяти, но прекрасно вижу, как ведёт меня в детский сад. Мне пять лет, я в первый раз дежурная. Повторяю на ходу «Отче наш» и другие молитвы, что читает дежурный перед учением и после него, перед едой и по окончании трапезы».

Шли они по Большому проспекту. Частный детский сад Макаровой располагался на Новоторговой улице, перпендикулярной проспекту. На углу Новоторговой и Большого проспекта стоял крупнейший в Харбине роскошный магазин купца Чурина, на Новоторговой располагались кинотеатры «Ориант» и «Азия». В «Ориант» однажды с мамой пошли в кино – Мария уже училась в школе, – перед киносеансами, как правило, выступали певцы, музыканты, в тот день вышел Вергинский в костюме Пьеро и запел:

Я безумно боюсь золотистого плена
Ваших медно-змеиных волос.
Я влюблён в ваше тонкое имя Ирэна
И в следы ваших слёз, ваших слёз...

Спел одну лишь песню «Пани Ирэн» и раскланялся. В

Харбин Вертинский приехал с концертом, он проходил в шикарном зале Железнодорожного собрания. Также его уговорили выступить в дивертисменте в «Орианте». Мария была заворожена песней, грустной и прозрачной поэзией, благородной энергией голоса. Пел рыцарь, облачённый в костюм Пьеро. Услышав одну единственную песню, Мария на всю жизнь стала поклонницей Вертинского, купила его пластинок, и не могла наслушаться, снова и снова заводя виктролу, так русские в Маньчжурии называли патефон. Как будет жаль оставлять пластинки с Вертинским при отъезде в Советский Союз...

В детском саду всё начиналось и заканчивалось молитвой. Два раза в неделю священник проводил занятия «Закона Божьего»... И в гимназии, училась Мария в гимназии ХСМЛ – Христианского союза молодых людей, преподавался «Закон Божий». По большим праздникам ходили всей гимназией в Свято-Николаевский собор. Школа располагалась рядом с ним, на Садовой, параллельной Большому проспекту.

В моём родном Ачинске однажды наш выпускной десятый «А» сбежал с урока истории в кинотеатр «Юность» на какой-то фильм. Мария Никандровна рассказывала: они всем классом, за исключением двух опоздавших в тот день, сбежали на литургию. В 1945–1946-м учились по советским учебникам. Слыхом не слыхивали до этого о Маяковском, Демьяне Бедном, Фадееве, и вот образцы советской поэзии и прозы пришли в маньчжурские школы... Сами учителя спешно по-

стигали новую программу, учебников не было... При японцах с 1938-го учебный год начинался после зимних каникул в январе, из класса в класс переходили в декабре, с сентября сорок пятого сделали по советскому образцу, школьный год стал заканчиваться в июне. Само собой, «Закон Божий» отменили. В церковь школа больше не ходила. И вдруг выпускной класс сорвался на Вознесение на службу, помня, что всегда на сороковой день после Пасхи гимназия стояла на литургии в Свято-Николаевском соборе, девочки по классам слева от алтаря, в белых фартуках, с белыми бантами, мальчики – справа.

Сбежали девушки с уроков – классы были «однополые», мальчишек и девчонок не смешивали – отстояли праздничную службу и вернулись в школу. Директорствовал в ней Помидор. Само собой, имелись у него имя-отчество и фамилия, Но иначе как Помидор ученики за глаза не звали. Оттого, что помидор и помидор во всех проявлениях. Маленький, толстенький. Голова лысая, шаром, золотые зубы и красный. Раскрасневшись больше обычного, принялся отчитывать прогульщиков за самовольство с церковью. Пугал: не допустит до экзаменов за политическую акцию. Грозился последствиями. И потребовал привести родителей. Те пришли, в том числе и отец Марии, отнюдь не с повинной за самоуправство детей, наоборот, в один голос выступили против обвинений Помидора. Нельзя вот так сразу всё переменить – девять лет в этот день ходили всем классом в церковь... По-

мидору ничего не оставалось, как смириться с идеологической несознательностью учащихся и их родителей. Это был не Советский Союз.

Накануне больших праздников отец заправлял маслом лампадку, что висела под иконами в красном углу, чиркал спичкой... Становилось по-особенному уютно в доме от мерцающего звёздочкой огонька у икон. Накануне Вербного воскресенья, в Лазареву субботу, ходили школой в церковь на вечернюю службу. Все классы шли с пучками верб, украшенных мелкими бумажными цветами – колокольчики, яблоневого цветочки... Мальчишки не могли в церковном дворе не погонять девчонок этими пучками, норовя похлестать по ногам: «Вербохлёт, бей до слёз, до белых куличиков, до красных яичиков...» Или: «Верба бела – бьёт за дело, верба красна – бьёт напрасно...»

В церкви на вечерней службе сходились вместе скорбь и радость. Великий пост, в центре храма стоит большое деревянное распятие, иконы обрамлены чёрной драпировкой, в понедельник начнётся страстная седмица, но церковь наполнена цветами. Как ни в один другой день в году, прихожане, все до единого, с праздничными букетами в руках. Опушённые белёсым и жёлтым нежные почки и тонкая коричневая кожица веточек пахнут весной... Стоя в церкви девчонки рассматривали, у кого красивее верба, у кого лучше украшена искусственными цветами. А мальчишки, когда священник начинал освящать букеты, махая кропилом направо и

налево, настойчиво тянули свои пучки к веерам брызг, стараясь побольше «поймать» святой воды... Её капли щедро летели на вербы, на лица прихожан, собор наполнялся улыбками, святая вода освежала, веселила...

Освящённые веточки Мария приносила домой. Мама говорила, что такими полезно «похлёстывать» утром в Вербное воскресенье домашних «на счастье». «И скотину, чтобы хорошо росла», – добавлял отец. «Нас уже мальчишки постегали», – смеялась Мария.

Прошлогодние веточки вербы отец убирал – но не выбрасывал, сжигал во дворе – к иконам ставил свежие.

Как она любила девчонкой и девушкой ходить к Свято-Николаевскому собору в дни свадеб. Мечтала: вот так же запоёт церковный хор: «Гряди, гряди, голубица...» – и ступят они с женихом под своды собора. Перед этим красивый и строгий жених будет встречать её на паперти с огромным букетом, произведением цветочного искусства. Букет харбинские мастерицы «возводили» на каркасе из тонкой проволоки... Получался роскошный овал из белых цветов с длинными хвостами аспарагуса... Мария подъедет к церкви, выйдет из машины и шагнёт навстречу своему счастью, своему ненаглядному... Они пойдут к аналою с крестом и Евангелием вдоль торжественного строя, слева её подруги-шаферицы в одинаковых платьях, справа – шаферы в чёрных костюмах... Сваха постелет перед аналоем белый плат, символизирующий облако, на котором мужу и жене предстоит много-мно-

го лет счастливо плыть вдвоём...

По поверью, если невеста первой ступит на плат – ей верховодить в семье, если жених – он главный... Некоторые пары устраивали суету соревнований с прыжками перед аналогом. Нет, она уступит первенство суженому, или разом встанут...

Шаферы будут держать венцы – в Харбине это миссия отводилась исключительно мужчинам – над женихом и невестой... У Марии мурашки бежали по спине, когда в полной тишине сверху с хоров Ольга Логинова, была такая знаменитая хористка в Свято-Николаевском, начинала петь «Отче наш»...

Что-то происходило в храме, когда невидимая прихожанами Логинова серебряной чистоты голосом протяжно пела из-под купола: «О-о-отче-е на-а-аш, Иже еси на небесе-е-ех...»

На крыльях мощного сопрано молитва заполняла пространство от пола до самой высокой точки купола, от иконостаса до притвора, вбирала в себя стоящих в храме... Низкие мужские голоса церковного хора были опорой, вторым планом, на фоне которого Ольгин голос серебрено царил во храме. Возникало ощущение: вот сейчас-сейчас он наберёт пронзительную высоту и вознесётся прямо туда, в горние выси, к ангелам, стоящим у Престола. «Да святится имя Твое...» В голосе боролись два чувства: одно – вырваться и устремиться прямо к Нему, второе страшилось дерзости ока-

янного человека, сдерживало грешный порыв... «Хлеб наш насущный даждь нам днесь...» Голос молитвенно возносился, и, казалось: под куполом образуется ещё один свод, прозрачный, дышащий... С каждым словом, с каждой строчкой, изливающейся из горла певицы, из сердца певицы, в невидимом своде копится сила... «И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим...» Эта сила, достигнув критической точки, должна вырваться, увлекая за собой стоящих в храме, уйти вверх, к небесам... Сердце замирало: вот-вот всё разрешится пронзительной, пронзающей нотой, которая подхватит тебя... «И не введи нас во искушение...» Побеждала осторожность – голос опускался с высоты и смиренно просил: «И избави нас от лукавого...»

Молитва долго звучала в Марии, вытесняя из сердца другие звуки, повторяясь и повторяясь...

С девчонок Мария мечтала, как с суженым поочерёдно три раза будет пить вино из чаши, священник соединит их руки и трижды обведёт вокруг аналоя, с этого часа супругам рука об руку идти по вечному кругу жизни... Видела себя в белоснежном платье со шлейфом, и пажи – двое малышей – семена ножками, подстраиваясь под шаг взрослых, понесут за ней шлейф. Было трогательно наблюдать подобную картину. Красиво одетые мальчик и девочка, преисполненные важности момента, изо всех сил стараются выполнить порученную им роль, и обязательно во время хождения вокруг аналоя кто-то из пажей запнётся, а то и растянется...

Певица Ольга Логинова (пела она в основном в опере, церковный хор был своего рода подработкой) в середине пятидесятых уедет в Австралию, перед этим отхватит состоятельного мужа, уведя его из семьи...

В Великий Четверг Мария с мамой ходили на вечернюю службу, на «двенадцать Евангелий», в Богородице-Владимирскую женскую обитель, возвращались домой с драгоценными огоньками зажжённых свечей. Предприимчивые китайцы продавали специальные складные фонарики с отверстием вверху – свечку вставляешь и защищаешь огонь от ветра... Дома отец на притолоках входной и межкомнатных дверей ставил копотью от свечек кресты против бесовских козней.

Такой бумажный фонарик Мария привезла в Россию. Так и пролежит без пользы. Ни разу не принесла под его прикрытием свечечку в Великий Четверг в свой дом.

На Пасху ночью ходили с мамой на праздничную службу в Свято-Покровском храм, что рядом с Покровским кладбищем. Пасхальная служба здесь отличалась тем, что крестный ход вершил свой круг не под стенами церкви, а захватывал добрую часть кладбища. В темноте весенней ночи среди могил, на многих теплились лампадки, среди массивных крестов, величественных памятников возглас священника: «Христос воскрес!» – и единый ответ идущих со свечками: «Воистину воскрес!» – звучали по-особенному, объединяя живых с теми, кто ушёл под кресты...

На Радоницу и Троицу на Успенском кладбище служились Вселенские панихиды. Со всех храмов, со всего города собирались православные харбинцы. У кого-то лежали родственники на этом кладбище, а было здесь до семидесяти тысяч могил, кто-то поминал похороненных в России – «зде лежащие и повсюду». Весь день служились у могил литии, панихиды, то тут, то там звучало «Со духи праведных скончавшихся», «Вечная память», «Со святыми упокой», а в пять вечера начиналась под открытым небом на большой поляне близ могил полная торжественной скорби и светлой печали Вселенская панихида. Мария несколько раз была на ней в Троицкую субботу. День чаще выдавался тёплый, солнечный, к Троице лето набирало силу. Зелень кладбища – много боярки, черемухи, ранеток... Небо с сияющим колесом катящегося к вечеру солнца... Блестящие одежды священников, они собирались со всего Харбина... Благолепный, усиленный артистами оперы архиерейский хор, ему вторящая многотысячная паства, празднично одетая, с преобладанием светлых тонов... Тёплый ветер, уносящий молитвы в высокую синеву... Вселенская панихида...

И обязательно в какой-то момент дождик брызнет с небес, окропит собравшихся весёлой влагой...

На территории кладбища, как поведали Марии Никандровне земляки, побывавшие в Харбине в 2007 году, китайцы устроили детский парк. На месте, где служились Вселенские панихиды, огромное колесо обозрения. И всего-то оста-

лось от кладбища – огороженный бетонным забором участок с могилами советских воинов, числом около шестидесяти, погибших в сорок пятом в боях с японцами. Позже и его уберут. Некоторые дорожки в парке остались кладбищенские, среди кустов и деревьев можно увидеть характерные холмики, пятна мраморной крошки, мелкие осколки от памятников, барельефов. Дорожка к выходу сделана из плит снесённых памятников. Говорят, какие-то плиты ещё и в девяностых годах лежали фамилиями вверх, потом китайцы перевернули. Успенская церковь, похожая на корабль, по колокольню заросла диким виноградом. Одно время в ней была комната смеха с кривыми зеркалами, позже устроили музей бабочек.

На пятый день Великого поста школа Марии ходила к причастию. Каждой школе Харбина отводился свой день в Великий пост. Накануне учащиеся исповедовались, отстаивали вечернюю службу, а утром причащались.

«Священник во время исповеди даёт наставление: “Не прелюбодействуй!” – а я и не знала, что это такое», – рассказывала Мария Никандровна.

Ни разу не причащалась Мария после школы. Побеждал материализм медика, опасение туберкулёза или другой болезнетворной микрофлоры. Этого в Китае хватало. Туберкулёз косил местное население, зверствуя во всём многообразии. Лимфаденит, туберкулёз брюшины, когда вся брюшина покрыта, как манной крупой, туберкулёз почек, костей, глаз

– поражается роковица, и в результате образуется бельмо. В России коллеги по медицине о коварных видах этой болезни лишь в книжках читали, удивлялись рассказам Марии.

Китайцы начали бороться с антисанитарией только в пятидесятых годах. Был развёрнут национальный проект. А если китайцы за что-то возьмутся...

В 1958-м кинули клич: уничтожить воробьёв до единого! Сорная пичуга в день сжирает до пятидесяти граммов любимого китайского продукта питания – риса. Не сеет, не пашет, а тысячи и тысячи тонн изводит, ведь воробьёв миллионы и миллионы... Сами китайцы впроголодь живут, и вдруг столько добра на помёт переводится. Объявили беспощадную войну прожорливым птихам. День генерального сражения совпал с православной Пасхой. В назначенный ранний утренний час в Харбине, как по команде, начался страшный грохот. Китайцы колотили во все предметы, издающие резкий звук, поднимая воробьёв на крыло. Предварительные исследования показали: воробей, как птица неперелётная, не в состоянии долго висеть в воздухе – падает замертво с параличом сердца. Отец Марии, безнадежно больной, ему покой нужен, а за окнами сумасшедший дом: китаянка-соседка и её многочисленное семейство остервенело бьют в железяки, сосед-китаец засел за сараем с дробовиком, то и дело по тополю палит. Чуть воробышки соберутся присесть дух перевести, огонь открывает. Тополь под самыми окнами у Марии, того и гляди – сосед по стёклам жажнет дробью. При-

шлось урезонить стрелка, сказать пару ласковых... Падающих воробьёв китайцы тут же собирали и не на помойку выбрасывали, пускали на кулинарные изыски – ели. Несколько дней базар ломился от «дичи»... Связками продавали.

По окончании акции Мария поехала к матери на Успенское кладбище. Город мёртвых выглядел как после побоища. Кругом на могилах следы китайской беготни. И здесь уничтожали воробьёв, собирали трофеи. Заодно и другим птицам по всему Китаю досталось. В тот год гробовая тишина стояла в небе, и случился неурожай.

С воробьями китайцы перегнули свою бамбуковую палку. Пришлось в результате завозить птах из соседних стран. Воробьи, как оказалось, не только рис пожирали, они клевали букашек, которые для риса страшнее во много раз. Букашки вместо китайцев и съели в тот год урожай.

Зато в борьбе с антисанитарией Китай преуспел. Хотя тоже были заскоки. Перед китайскими школьниками поставили задачу – уничтожить мух. Искоренить переносчиков заразы. Приказано – сделано. Школяр к месту охоты, скажем, на помойку, где этого добра навалом, – выходил во всеоружии: мухобойка в одной руке, пинцет в другой и бутылочка с пробкой на поясе. Меткий удар: насекомое повержено, трофей берётся пинцетом и опускается в бутылочку. Ещё удар... Наконец ёмкость наполнилась, наступает момент подсчёта добычи на предмет ответа на вопрос – выполнен поставленный план или надо ещё помахать мухобойкой? Было объяв-

лено соревнование по сдаче мух, которое выявляло передовиков и рекордсменов...

Школьники не только воевали за чистоту Китая, они вели агитационную работу. Для чего использовался общественный транспорт – трамвай. Два или три глашатая здорового образа жизни под резкие звуки народного китайского ударного инструмента – две соударяющиеся палочки – мелодекламируют схему поведения добропорядочного китайца: утром проснулся, поднялся, умылся, зубы почистил и так далее. Основы гигиены внушались в трамвае, пропагандировались в газетах, по радио. Правда, в том же трамвае кондуктор женского рода – кстати, она выходила на остановках подсаживать пассажиров – во время поездки предлагала желающим утолить жажду кипячёной водой. Кипяток набирала в титане, были такие на улицах Харбина, работали на нужды горожан. Как вскипит вода, пронзительно засвистит, и бегут к нему с ёмкостями страждущие... Один титан стоял рядом с трамвайной остановкой у Свято-Алексеевской церкви, на пересечении улиц Гоголевской и Церковной. Кондуктор выскачит на остановке, наберёт кипятка. Имелся в комплекте трамвая большой чайник и два керамических «вовсе не разовых», стакана для желающих промочить горло пассажиров.

Нацпроект борьбы за гигиену удался, его призывы укоренились в Китае.

«Покидаешь Россию, переезжаешь границу, покинув Забайкальск, – делились незабываемыми впечатлениями с Ма-

рией Никандровной земляки-харбинцы, побывавшие на родине в 2007 году, – и уже на первой китайской станции – Маньчжурии – каким бы ты патриотом ни был, понимаешь: наш Забайкальск, Омск и любой другой город – это заплёванные задворки. Вовсе не значит, китайцы постоянно убираются, они не сорят. Идеально чисто».

Марии оставалось метров двести нести крест, когда услужливо подскочил Витя Джу. С ним одно время вместе работали на «скорой» при железнодорожной больнице, он был водителем. Наполовину русский, наполовину китаец. Через сорок четыре года в Омске в обществе земляков-харбинцев Мария удивится, разглядывая незнакомца: на китайца мужчина смахивает, да нос явно не китайский – великоват. В то же время русским никак не назовёшь. И снова удивилась, мужчина заговорил с кем-то из земляков-харбинцев на чистейшем русском. Тут же крутились два китайца. Эти-то настоящие, из тех торгашей, что заполонили Омск, как только после перестройки открылись границы. Они приходили в общество исключительно с торгашескими целями: предлагали свой товар – ветровки, пуховики, другой ширпотреб... Непонятной национальности мужчина повернулся к одному из них и заговорил на бойком китайском. Чем ещё больше озадачил Марию Никандровну.

«Извините, а как ваша фамилия?» – спросит загадочного мужчину. «Джу», – прозвучит в ответ. «А по-русски?» – «Джу». – «Вы мне кого-то напоминаете?» – «А вы, Маша,

на фотографии у меня есть, мы стоим у железнодорожной больницы в Харбине». Как это обычно было у полукровок: мать у Вити была русская, отец – китаец.

Вот такая произойдёт встреча. Витя помог Марии занести крест во двор дома. «Как ты его тащила?» – спросил удивлённо. «Когда надо – дотащишь!».

Через много-много лет, точнее – через сорок восемь, не она, а Витя положит цветы к этому кресту на новом харбинском кладбище в Санкешу.

Похоронила мать 7 августа, а ровно через год, десятого августа 1958-го, перезахоронила. Наняла китайцев. На кладбище первым делом предупредила: «Ни в коем случае нельзя крышку гроба открывать!» Увидеть мать через столько времени после похорон... «Хоросё, мадама!» – закивал головой китаец-бригадир. Август, как всегда, стоял дождливый, земля тяжёлая, гроб сильно сплющило. Отец наказывал, сам уже не вставал: «Похорони не поверхностно. На три аршина пусть закапывают». При вскрытии могилы, еле сдержалась, но не расплакалась, кусала губы, когда китайцы вытащили гроб, обмотали его соломенной верёвкой, дабы крышка не съехала. Был он измазан землёй, глиной, деформирован – раздался по сторонам... Мало что осталось от первоначальной белизны. Мария, когда год назад хоронила, не пожалела денег на гроб и считала – крест на крышке и ангелы над ним из металла, оказалось – картон, конечно, он расползся...

На грузовике повезли на новое кладбище в Санкешу, в

двадцати пяти километрах за городом. Оно только-только заселялось. Похоронили в самом начале. Через сорок восемь лет земляки, среди которых и Витя Джу, быстро найдут могилу. Рядом памятник доктору Казем-Беку и могила Успенского, одного из основателей альма-матер Марии – фельдшерско-акушерской школы, позже ставшей медтехникумом. Кстати, его компаньон и коллега Сементовский, который «Серя», уедет в Америку. Невдалеке могилы пяти студентам, погибших в 1946-м. Красная армия тогда в срочном порядке покинула Харбин, город остался беззащитным. Ни армии, ни милиции, ни комендатуры. Китай всегда славился бандитами. Управление железной дороги организовало из студентов политехнического института отряд охраны жизненно важных объектов, пока в город не пришла государственная власть. В стычке с бандитами погибли студенты. Их как героев хоронил весь город на старом уже закрытом Покровском кладбище в центре Харбина, а потом перенесли за город...

Отец настаивал поставить матери памятник. Рядом с Успенским кладбищем находилась мастерская Урзова по изготовлению памятников. На тот момент Урзову не принадлежала, состарившись, он продал китайцам отлично поставленное дело. В мастерской Мария присмотрела скромный памятник в виде небольшой колонны с маленьким ангелом наверху. Склонившийся ангел бросал розу на могилу.

Рассказала отцу, он одобрил выбор. Но денег не хватало.

Отец решил продать раритетную Библию, издания середины девятнадцатого века. Большого формата, с золотистыми застёжками, в кожаном футляре, картинками на всю страницу. Такой фолиант не считаешь, держа в руках. Подростком Мария раскрывала её на столе, поддвигала мягкую табуреточку и, стоя на ней на коленях, разглядывала иллюстрации, читала.

Нашлась покупательница – баптистка.

«Видишь, как всё удачно, – передал отец деньги дочери, – будет маме памятник». Но деньги пошли на перезахоронение.

Отец умер через пять месяцев, после того как Мария перезахоронила мать, в Никольские морозы, 23 декабря. Лечиться не захотел. Порошки пить категорически отказывался: «Не хочу пылью рот забивать!» Мария делает микстуру в капсулах. Отмахнётся: «Я эти медведки пить не буду!» Ночью началось кишечное кровотечение. Посадила на горшок. Полилось, как гвоздиком проткнули. И запах переваренной крови. Русских вокруг ни одного. Не к кому за помощью сунуться. Побежала к вокзалу, в железнодорожную больницу, туда, где работала когда-то на «скорой». Те два года всегда вспоминала с теплом. В «скорой» в основном были китайцы, работалось с ними легко, в удовольствие, ни интриг, ни склок. К ним и побежала. «Вбóды папа кой сыла!» – выпалила с порога. «Мой папа скоро умрёт». В «скорой» застала трёх китайцев. Те сразу подхватились. «Мáнишку», так её пере-

крестили на свой манер, хорошо знали. Вынесли на одеяле отца из дома, носилки не проходили и повезли в больницу имени Казем-Бека. Там Мария попросила сделать переливание крови. Работала у них фармацевтом Никифорова. Как окажется много позже – она будет последней коренной русской харбинкой, кто умрёт в Харбине. А проживёт более девяноста лет.

Отец после переливания уснул, щеки порозовели. «Ниды папа хаала», – скажет китаец, что лежал на соседней кровати. «Твоему папе лучше». Марии и самой так показалось. И она – опытный медик, который прекрасно всё видел, – вдруг обрела надежду на чудо. Будто отец воскресал. В счастливом порыве бесцельно сбежала по лестнице на первый этаж, промчалась по коридору, снова взлетела на второй. «Папа будет жить! Папа будет жить!» Вошла в палату. Он открыл глаза, произнёс: «Доченька...» И кровь хлынула горлом...

Осталась Мария с голубем Гулькой.

Он жил у них пять лет. Мария отобрала у соседской кошки. Ещё бы секунда-другая и конец птахе. Принесла истерзанную птицу, приговаривая, как над больным ребёнком, посадила в корзинку и поставила её на сундук, что занимал целый угол. «Это не сундук, а вагон-товарняк», – смеялся отец. Товарняк не товарняк, но спать на нём можно было спокойно – ноги не свешивались. Гулька быстро превратился в ручного и домашнего. Собственно – выбора не было: летать после кошкиных зубов не мог. Гулька оказался хорошим собесед-

ником, внимательно слушал, гуканьем поддерживал разговор. Когда по вечерам семья собиралась под абажуром, Гулька всегда участвовал в посиделках. А если вдруг и засыпал в своей корзине, стоило услышать «Гулька» – мама что-то про его дневные проделки начнёт рассказывать – сразу вскидывал голову и смотрел мутными, сонными глазами, дескать, что вы тут без меня обо мне судачите? За столом под абажуром каждый занимал своё место. Мама что-то шьёт, папа напротив неё садился, мог набойки набивать на башмаки, или ремонтировать сапоги, или что-то мастерить. Стул Марии стоял сбоку от отца, она наливала чай из самовара, рассказывала о рабочем дне или читала вслух. Это могла быть Библия или художественная книга.

Под столом лежал ещё один член семейства – чёрный шпиц Жучок. Смешной и добрый. Умер вслед за мамой. Ухитрился простудиться, схватить воспаление лёгких. Мария пыталась лечить... Но у него вдобавок ко всему оказался порок сердца, Мария сама обнаружила шумы в собачьем сердце. В один момент Жучок вконец ослаб, с трудом подошёл к Марии, долго смотрел на неё, потом заковылял в сторону отца и упал на полдороги... Гулька пережил хозяина дома на четыре месяца. Всё это время Мария не знала, как с ним поступить, она оформляла документы в Советский Союз. Взяла бы с собой любимца, да нельзя с ним через границу. И отдать некому. Соседка любила живность, но её кошка давно зарилась на голубя-инвалида... В тот вечер Мария не

закрыла плотно входную дверь, и вдруг услышала возню на крыльце, выбежала. Гульку тащит за крыло кошка. Отобразила, но поздно – лёгкое было поранено острыми зубами.

«Это Вера с Никандром его забрали, – скажет соседка, – тебя освободить».

Отца отпели в Модягоу в Свято-Алексеевской церкви. В морозной дымке города церковь пламенела ярко-красным кирпичом колокольни и стен. Отпевал священник Николай Стариков. Мария просила батюшку поехать на кладбище – отказался, боясь застудить слабые лёгкие. Гроб везли на грузовике. К могиле шофёр проехать не смог, остановился метрах в ста. Мария вышла из кабины с большим букетом белых хризантем. Могилу китайцы выкопали, как она просила – край маминогo гроба был виден, и гробы встали рядом. Это было желание отца. Китайцы взялись за лопаты, шофёр тут же принялся нетерпеливо сигналить: «Поехали». Ждать отказывался. На тридцатиградусном морозе хризантемы начали крошиться. Мария передала их китайцам, попросила всё сделать как надо, то и дело оглядываясь, пошла к машине.

Она не помнит – сама ли так удачно решила или кто надумил: крест, что дала Раиса Аввакумовна, устанавливать на могилу не вертикально, а плашмя. Может, в мастерской Урзова посоветовали? Крест погрузили в раствор – бетон плюс мраморная крошка – так, чтобы он на три пальца выступал из памятника-плиты. Поперёк могилы в ногах и головах китайцы положили два бетонных бруса и на них установили па-

мятник. «Хоросё будет, мадама!» – сказали рабочие.

Получилось «хоросё». Памятник нисколько не осел за без малого пятьдесят лет.

«Ровненько стоит», – рассказывал по телефону Витя Джу, приехав из Харбина.

Мария Никандровна пригласила земляков в гости через месяц после их возвращения из города детства и юности. Убелённые сединами бабушки и дедушки с воодушевлением рассказывали о свидании с родиной.

Принесли фотографии, в том числе и сделанные на могиле родителей Марии Никандровны. Вот возлагают цветы. Вот ставят свечи. Крупным планом крест. Крупным планом надпись. В одном месте памятник дал тонкую трещину, она змеилась до креста, продолжалась за ним. Возможно, сыграли свою роль корни дерева, что выросло вплотную к памятнику (на фотографии был виден один ствол, Мария Никандровна не разобрала – какое). Но крест лежал абсолютно целым.

«Никогда не думала, что увижу, – вытирала слёзы Мария Никандровна. – Спасибо, дорогие мои, спасибо, что разыскали маму с папой».

«Кладбище стояло обязательной строкой. Мы сразу сказали в мэрии, как приехали. Нам выделили автобус».

Земляки привезли Марии Никандровне в полиэтиленовом мешочке немного земли с могилы родителей.

«Мне на гроб насыпьте», – попросила Мария Никандров-

на.

...Так они и сделали.

* * *

В оформлении обложки использована картина Владимира Чупилко «Воробьи на дичке».